

ОКАЯННАЯ СИЛА

ДАЛИЯ
ТРУСКИНОВСКАЯ



ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Исторические приключения (Вече)

Даля Трускиновская

Окаянная сила

«ВЕЧЕ»

2005

Трускиновская Д. М.

Окаянная сила / Д. М. Трускиновская — «ВЕЧЕ»,
2005 — (Исторические приключения (Вече))

Жила-была, не тужила девица-золотошвейка Аленка, в подругах-наперсницах ходила у самой царицы Евдокии. Но не ведала красавица о том, что прокляли ее еще в утробе материнской! И проклятие то грозит не только ей, но и всем ее близким и дорогим людям. Чтобы спасти свою жизнь, исправить злую судьбу царственной подруги, пришлось Аленке пройти огни и воды – стать колдуньей могучей, повелевающей стихиями и душами человеческими. Но нет предела темной, окаянной силе!..

Содержание

1	6
2	13
3	15
4	27
5	29
6	42
7	49
8	57
9	60
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Даля Трускиновская

Окаянная сила

© ООО «Издательство «Вече», 2013

© Трускиновская Д., 2013

* * *

1

– Не замерзли пальчики-то, свет?

Аленка, уже почти поднеся к губам кулачок, чтобы согреть его дыханием изнутри, испуганно повернулась.

Личико у матушки Ирины было махонькое, лоб по самые брови срезан черным платом, бледные щеки им же укрыты до уголков улыбчивого рта. Так для черницы приличнее, да так же, по зимнему времени, и теплее. Зима-то ранняя, холодов не ждали, топить сразу не наладись...

Черница, склонясь над девушкой, приобняла ее и покивала, вглядываясь в работу.

Девушка клала мелкий жемчуг вприкреп по уже готовой вышивке, выкладывая длинный конский волос с нанизанными на него жемчужинками по настилу – промеж двух тонких золотистых шнурков, обводящих завитки узора. Это было второе зарукавье ризы, а первое, уже готовое, лежало перед Аленкой, чтобы сверять счет и размер жемчужин.

– А и шла бы ты к нам окончательно, Аленушка, чего ты у бояр своих позабыла? У нас тихо, благостно, первой искусницей будешь, – ласково проговорила матушка Ирина.

Она коснулась перстом линии, наведенной по бархату меловым припорохом, и Аленка, боясь за сложный узор, который второе уж утро переносила на ткань, удержала ее истончавшую желтоватую руку. Узор дался ей нелегко, она долго двигала двумя составленными уголком зеркальцами над клочком дорогого персидского атласа с золотистыми завитками по черному полю, пока не добилась своего: узор на том клочке шел по кругу, а ей хотелось вытянуть его в полосу.

Инокиня и девушка обменялись взглядом.

У матушки Ирины глаза впалые, темные, снизу желтизной подведенные, а у Аленки – точно рябы: по серой радужке светло-карие пятнышки. Щеки, конечно, порозовее, чем у пожилой инокини, но волосы так же тщательно упрятаны под плат. И личико – с кулачок.

– Благословите, матушка, начинать, – попросила Аленка, показав на пальцы.

– Бог благословит, душенька ты наша ангельская, – матушка Ирина снова покивала. – Отпросись уж у своей боярыни, свет. Притчу о талантах, что батюшка Пафнутий толковал, помнишь? Накажут ведь того, кто свой талант в землю зарывал. А твоими ручками золотыми разве мужу ширинки вышивать? Да и ширинки ли? Ведь не отдадут тебя за богатого, чтобы сидеть в светлице и рукодельничать. Будешь вот этими ручками порты грязные латать, миленькая! А ими – покровы к святым образам расшивать надобно, пелены, воздухи к потирам, облачения для иереев...

Семнадцать в мае исполнилось Аленке, и уже года два, кабы не более, обещается она отпроситься у своей боярыни, пожить в монастыре послушницей, потом малый постриг принять. Хорошо, боярыня замуж по своему выбору выдать ее не норовит, силком в горнице не держит. И по неделе живет Аленка в келейке у матушки Ирины, рукодельничает себе на радость с прочими сестрами и матушками. Ростом девушка – с малого ребенка, пальчики тоненькие, глазки остренькие, и шьет так, что залюбуешься. Другим рисунки для вышивки знаменщички наводят, а Аленка сама знаменит не хуже; и стежки кладет махонькие, ровненькие, и цвета подбирает так, что гладь под ее иглой словно на свету вспыхивает и тень от себя дает.

А уж в лицевом шитье, когда доверяют девушке святые лики шелками охристого да розоватого цвета расшивать, она каждый стежок так расположит, что лик живым делается. Умеет Аленка и обвести жемчужной снизкой фигуры святых точнехонько, и жемчуг подобрать ровнехонько, и все швы знает – и высокий сканью, и шов на чеканное дело, и шитье в петлю, и шитье в вязь, и шитье в черенки. Посчитали как-то – более полутора десятков швов получилось.

– Я просилась, матушка Ирина, сейчас не пускают, – пожаловалась Аленка. – Говорят, разве дома работы мне мало? Приданое Дунюшке шить, потом Аксиньюшке.

– Господь с тобой, разумница, – матушка Ирина негромко рассмеялась, прикрыв рот ладошкой. – Твоей Дунюшке девятнадцать уж, перестарочек она. А на Москве другие невесты подросли. Вот бы хорошо, кабы ты и Дунюшку уговорила постриг принять. И тебе бы тут с подружкой было веселее.

Аленка улыбнулась.

Если бы красавица Дуня, подруженька милая, хоть раз обмолвилась о келье – Аленка бы уж уцепилась за нечаянно изроненное словечко. Чего уж лучше – в монастырь, да вместе с Дуней! Но Дунюшка отчаянно хотела замуж. Еще не зная, не ведая суженого, она уже любила его со всем пылом не девичьей – женской души, уже принадлежала ему и детям. Этой осенью, на Покров, разбудила Дуня Аленку ни свет ни заря, повела в крестовую палату – свечечку перед образом Покрова Богородицы затеплить. Из всех девиц, в доме живущих, ей нужно было успеть первой, чтобы и под венец – первой. Прочитав положенные молитвы, Дуня, застыдившись, сказала и две неположенные:

– Батюшка Покров, мою голову покрой! Матушка Параскева, покрой меня поскорее!

И вечером, когда после молитвы все безмолвно отходили ко сну, Алена, поправляя поплавок в лампадке, что в Дуниной горнице, услышала из-за кисейного полога легкий шепоток:

– Покров-праздничек, покрой землю снежком, а меня – женишком...

Услышав бесстыжую Дунюшкину молитву, Аленка покраснела до ушей. Как краснела обычно, услышав срамную песню – из тех песен, что девки в сенях тихонько друг дружке на ухо напевали, фыркая и прикрывая ладошками рты от смеха. Аленка смеялась редко: во-первых, ничего забавного в том, что вызывало у других хохот, она почему-то не видела, а потом – мал смех, да велик грех.

Представилось перед глазами и вовсе непотребное: дядька большой, тяжелый, борода-тый, в парчовом кафтане, заваливает на постель милую подруженьку. Не об этом же, в самом деле, просила Дуня? «Покрыть» – слово-то какое стыдное...

Но и этой осенью сваты двор Лопухиных стороной обошли. Девятнадцать лет, небогатое семейство, захудалый дьячий род – как ни тщишь, а дьячий... Может, отпустят Дуню? Вместе бы и послушание несли. А какое может быть у Аленки послушание? Рукоделие! Никому в монастыре нет резону ее тонкие пальчики на грубой работе губить.

Аленка искренне хотела в монастырь, под крылышко к доброй матушке Ирине. Здесь ее любили, здесь она всех любила. Аленкино искусство было тут для всех великой радостью, и она не раз сподобилась похвалы даже от самой матушки-игуменьи Александры. Монастырь предлагал Аленке все, чего она желала от жизни, и здесь не иссякал мелкий жемчуг в шкатулках, не кончались цветные нитки в мотках, ждали своего часа тяжелые штуки бархата, турецкого и итальянского, и легкие – тафты и кисеи. Здесь было в избытке все, потребное для невинного девичьего счастья...

А стать боярыней, которая целые дни проводит за пядями, Аленка не могла – не нашлось бы боярина, который заслал бы к ней сваху. Не дочка, не внучка и даже не племянница она Лариону Аврамычу – всего лишь воспитанница. Повыше сенной девки, пониже бедной родственницы, что живет на хлебах из милости. Хорошо, Бог тихим нравом наградил – не в тягость девушке это.

В трапезную вошла послушница Федосьюшка:

– За тобой возок прислали, Аленушка. Домой быть велят единым духом.

Возок? Не так уж далеко Моисеевский монастырь от Солянки, чтобы возника в санки закладывать. И не столь велика боярыня Аленка, чтобы кучера за ней снаряжать.

– Господи помилуй, не стряслось ли чего? – Аленка вскочила, не забыв все же придержать низко жемчуга. Растечется по полу – ползай потом, жемчуг-то счетом выдали.

– Ах ты господи! Не ко времени! – покачала головой матушка Ирина. – А как бы ладно тебе остаться тут на Филипповки...

– Да я и сама хотела, – призналась Аленка.

Уж что-что, а постное старицы стряпали отменно. Из мирских благ Аленка, пожалуй, лишь лакомства и признавала. Пастила калиновая, малиновые левашки, мазюня-редька в патоке не переводились в обители, а в пост – постные лакомства: тестяные шишки, левашники, перепечи, маковники, луковники, рыбные пироги... Благо Филипповки – пост светлый, радостный, нестрогий.

Лакомка – ну и что? Девичий грех – за него и батюшка на исповеди несильно ругает.

Аленкина заячья шубка в келье у матушки Ирины висела. Сперва была это Дунюшкина шубка – подруженька ее тринадцатилетней отроковицей носила. Раньше по обе стороны застежек нашивки с кисточками шли, а как Аленке шубу отдавали – нашивки спороли и припрятали. Аксинюшке, младшей, Бог даст, понадобятся.

Матушка Ирина и Федосьюшка проводили Аленку до крыльца. Перекрестили, поскорее возвращаться велели.

Аленка заспешила через двор к калитке, за которой ждал возок. Узел с добром, что несла в правой руке, чиркал по снегу.

У самой калитки – то ли тряпья ворох, то ли что... Шевельнулось! Выпросталась рука, осенила Аленку крестом.

– Ты что тут сидишь, Марфушка? – строго спросила девушка. – Ступай в тепло! Тебе поесть дадут. Чего ты тут мерзнешь?

– Согреемся, все согреемся! – грозно предрекла блаженненькая. – О снежке с морозцем загоскуем! – И откинула грязный угол плаги, прикрывавший ей рот. – Поди сюда, девушка! – позвала она Аленку. – Хорошее скажу...

Аленка, робея, подошла ближе. Но когда наклонилась над блаженненькой, та вдруг принялась ее сердито обнюхивать.

– Дурной дух в тебе, девка! Фу, фу... Дочеришка лукавая! – Марфушка удержала за рукав отшатнувшуюся Аленку и вдруг заголосила, истово и радостно: – Ликуй, Исая! Убиенному женой станешь! За убиенного пойдешь!..

Аленка рванулась к калитке, но Марфушка держала крепко.

На счастье, посланный за девушкой конюшенный мужик, дядя Селиван, услышал этот вопль и, в любопытстве приоткрыв калитку, увидел, как перепуганная Аленка пятится по тропке, таща за собой Марфушку.

– Ты что, баба, очумела? – без всякого почтения прикрикнул на блаженненькую дядя Селиван, отчего та будто в разум вошла – выпустила рукав шубки.

Аленка метнулась в калитку, дядя Селиван развалисто вышел следом.

– Дура ты, девка, – строго сказал он Аленке. – Совсем тут у чернорясок умом тронулась. Больше ее, блаженную, слушай! Если бы все то делалось, что эти дуры вопят, конец света бы уж наступил. Молвится же такое – за убиенного пойти!.. – Он размашисто перекрестил Аленку.

– Я уж боялась, рукав оторвется, – жалобно отвечала она. – Спаси и сохрани, спаси и сохрани...

– Не канючь, дура. Бояра по тебя, глянь, санки послали!

Аленка села и прикрылась полстью. Селиван чмокнул, и старый гнедой возник затрюхал по накатанному снежку.

Аленка задумалась о своем: не повредили бы черницы, таская пяльцы, с таким тщанием наведенный ею узор!.. А когда подняла глаза – санки, миновав амбары государева Соляного двора и Ивановскую обитель, всюю уже катили по Солянке. И даже возника подгонять теперь

не приходилось – он, глупый, уже учуял родную конюшню и явно надеялся, что более сегодня трудиться не выйдет.

К большому удивлению Аленки, тяжелые ворота оказались распахнуты – как будто ее ждали. Навстречу, охлюпкой на хорошем молодом мерине, выскочил конюх Ефимка и поскакал, не оглядываясь. Что за переполох?

Возок резво вкатился в ворота.

– Наконец-то! – И Аленку буквально выдернули, поставили в снег прислужники, а дядя Селиван споро подогнал возок к главному крыльцу о двенадцати широких ступенях.

Она же, вместо того чтоб бежать к теремному крыльцу, окаменела, глядя на творившуюся вокруг страшную суету: взад-вперед носилась челядь, сразу начали грузить возок... Хозяин же, Ларион Аврамыч, теряя и вновь подхватывая длинную шубу внакидку, внушал со ступеней задравшему вверх широкую бороду ключнику Сеньке Кулаку:

– Скажешь боярину – мол, кланяется Лариошка Лопухин соболями, и лисами, и медом, и рыбой, и сорока рублями, что не забыл, призрел на его сиротство, чадо его едиnorodное до таких высот возвысил! Скажешь еще боярину – мол, это лишь первые подарочки, потом еще будут!..

Аленка опомнилась и побежала наверх, к Дунюшке.

Там тоже творился переполох.

Первой Аленка увидела Сенькину жену, Кулачиху. Та, распахивая санных девок, металась по светлице: в левой руке держала свечу темного воска, правой трижды закрепивала углы.

– Крест на мне, крест у меня! – не шептала, как полагалось бы, а возглашала она. – Крест надо мной, крестом ограждаю, крестом сатану побеждаю, от стен четырех, от углов четырех! Здесь тебе, окаянный, ни чести, ни места, всегда, ныне и присно, и во веки веков, аминь!

Посреди светлицы стояла красавица Дунюшка, в одной рубашке распояской и простоволодая, темно-русая коса на спине откинута. Глаза у девушки закатились, того гляди – грохнется без чувств.

– Занавески на окна! Суконные! – шумела, перекрикивая Кулачиху, мамка Захарьевна. – Чтобы и солнышку не глянуть! А ты, дитятко, поди пока, поди сядь, не вертись в ногах! – Она силком усадила на подоконную скамью тоненькую, но уже высокую и круглолицую, как старшая сестра, Аксиною.

Девочка шлепнулась, сложила перед собой руки, кулачок к кулачку, и, приоткрыв рот, водила огромными глазами вправо и влево.

– Да где ж вода?! – раздался пронзительный голос постельницы Матрены. – Боярыня обмерла!

И впрямь: в глубине светлицы, на постели Дунюшкиной сидела, привалившись к столбцу полога, еще нестарая, но уже завидной дородности хозяйка Наталья Осиповна, а тощая Матрена с немалым трудом ее удерживала.

Аленка все еще ничего не понимала. Но наконец яростная Кулачиха и ее заметила.

– Вернулась, богомолица? – накинулась она с ходу на девушку. – А ну, раздевайся и за работу! Сейчас вот углы закрепшу – рубашку жениху кроить будем! Ширинки расшивать нужно! Приданое перебирать!

– Разве Дунюшку засватали? – без голоса спросила Аленка.

– Машка! Машка! Беги к боярыне в спальную! Вот ключ от сундука! Тащи сюда два кокошника, те, что с острым верхом! Нет, стой! Возьми лучше ты, постница, – она сунула ключ Аленке. – Возьми кокошники, там же спори с них жемчуг! Споры и сочти – другого-то у нас нет подходящего... Как спорешь – рубашку начинай кроить!

– Засватали... – потерянно и уже вслух повторила Аленка.

– Да Машка же! – закричала снова Матрена. – Принесешь ты воды, проклятая, нечистый тебя заberi?!

Кулачиха грозно повернулась к Матрене.

– Ты это какие тут неистовые слова выговариваешь? – прошипела она. – Да как тебе на ум взбрело нечистого поминать – при государевой-то невесте?!

Аленка так и села на скамью рядом с Аксиныюшкой.

– Аксиныюшка, голубушка, да что ж это делается-то? – спросила только.

– К нам сама царица приезжала, – округляя черные глаза, отвечала девочка. – Тайно, в простом возке. Дуню во дворец повезут! В царский!..

– Царица?! К нам?! – Аленка помотала головой – такое можно было услышать разве что во сне.

Женщины, набившиеся в Дунюшкину светлицу, заполошно галдели. Машка металась, вовсе ошалев и ничьих приказов не исполняя.

– Господи Иисусе! – прошептала Аленка.

В том, что опальной царице Наталье Кирилловне пришла на ум Дуня Лопухина, ничего удивительного не было: и шести лет не прошло, как она, царева вдова, жила круглый год в Кремле и имела при себе до трех сотен женской прислуги, среди коих и Дунюшка успела пожить. Странно было иное: разве не сам царь должен выбирать себе невесту, да из многих красавиц? Раньше ведь отовсюду девок хороших родов в Кремль свозили, и они там неделями жили – покойный государь так-то оба раза женился. А чтобы царица тайно по невесту отправилась? Да в простом возке и без свахи? И чтоб сразу же сговорили? Да разве ж так правят царскую радость?!

Очевидно, Дунюшка от всего шума и гвалта несколько опаматовалась, ибо заметила наконец, что на лавке под высоким слюдяным окном смиренно сидят Аксиныюшка и Аленка.

– Аленушка, подруженька! – Дуня, оттолкнув мамку Захарьевну, устремилась к окну. – Что делается-то, Аленушка! Я тебя с собой в Верх возьму! Аленушка, счастье-то!..

Аленка, вскочив, ухватила Дуню за руку.

– Бежим в крестовую, Дунюшка! – не попросила, потребовала. – Помолимся вместе!

– Аленушка! – глаза у царевой невесты были шалые. – У него кудри черные, брови соболиные! Он всех выше, статнее!..

Но у двери подружек перехватила Кулачиха:

– Никуда ты, матушка Авдотья Ларионовна, из своей светлицы не пойдешь! Тут под строгой охраной сидеть будешь, покуда в Верх не возьмут! Чтобы не сказали потом, что у нас по недосмотру цареву невесту испортили! А ты, постница!..

Она замахнулась было на Аленку, но Дунюшка отвела ее руку. И так посмотрела в глаза Кулачихе, что та отступила и поклонилась – сразу с достоинством и покорностью, каковые объединить в одном поклоне ей до сих пор не удавалось.

– Я, Дунюшка, за кокошниками схожу, чтобы мелкий жемчуг спороть, – торопливо, чтобы из-за нее не возникло бабьей смуты, сказала Аленка. И добавила со значением: – Рубашку женихову государю вышивать!

Она выскочила из светлицы, переходами пробежала в сени и увидела там хозяина, Лариона Аврамыча, с младшим братом, Сергеем Аврамычем. Оба, статные и крепкие, в похожих шубах, одинаково выставляли вперед плоские и широкие бороды, так что человеку непривычному недолго было их и спутать.

– За сестрой Авдотьей послано, – говорил Ларион Аврамыч, – за братом Петром послано...

– Всех, всех собери немедля, – твердил, словно мелкие гвозди вбивал, Сергей Аврамыч. – С холопьями конными, со всей оружейной казной, сколько ее у кого дома есть. Заклюют, если девку не уберем...

– Да уймись ты! – прикрикнул на него старший брат. – Пока Дуньку в Верх не заберут – сам с саблей буду ночью по двору ездить!

– Дуньку? – переспросил младший братец. – Государыню всея Руси великую княгиню Авдотью Ларионовну – более она тебе не Дунька!

– Авдотья, да не Ларионовна. Государыня Наталья Кирилловна сказала, что мне теперь не Ларионом, а Федором быть.

– Федором? – с некоторым сомнением изрек Сергей Аврамыч. – С чего они там, в Верху, взяли, что все царские тесты непременно Федорами должны быть? Вон когда у Салтыковых Прасковью в Верх брали, за государя Федора, Александра Салтыков тоже на Федора имя переменял...

Тут в сени вошел еще один брат Лопухин – Василий. А всего их было шестеро.

– Господи благослови! Дождались светлого дня! – возгласил он, раскидывая широкие объятия. – Дождались! Не напрасно батюшка в дворецких у государыни столько лет прослужил! Запомнила она, матушка, честную службу! Теперь нам, Лопухиным, – простор!

– Государь молод и глуп, – оскалился Сергей Аврамыч, беззвучно смеясь. – Как дитя малое, в Преображенском потешными ребятками тешится. Шесть сотен бездельников и дармоедов по окрестным оврагам гоняет под барабан, свирелку да рожок, от дворцовой службы отрывает. Еще немного – и, почитай, полк образуется.

– Молчи, не сглазь! – напустились на него старшие братцы. – Пусть и подоле бы провозжался с теми холопами государь Петр Алексеич!

– Не образумит его женитьба, ох, не образумит, – радуясь цареву беспутству, продолжал младший Лопухин. – Дунюшка хоть девица и спелая, однако он-то норовом не в покойного государя – не станет дома сидеть да детей плодить, помяните мое слово.

– Дунюшка наша на два года постарше, сумеет управиться, – возразил Петр Аврамыч.

– На три, – поправил царский тесть. – За то и взята. Наталья Кирилловна, матушка наша, извелась – от рук-де отбилось чадо... А в чадушке – сажень росту! Однако что это мы – в сенях? Я вот велю в горнице стол накрыть! Пойдем, братики, выпьем – возрадуемся...

Аленка, дождавшись их ухода, проскочила в покои, которые занимали Ларион Аврамыч с Натальей Осиповной, и обрадовалась – хоть там было тихо и пусто. Она подняла тяжелую сундучную крышку и достала два указанных кокошника. Затем присела в задумчивости на тот же сундук.

Дунюшка станет царевой невестой! Ее поселят до венчанья в Вознесенском монастыре, как положено, и одному Богу ведомо, удастся ли Аленке навестить ее там. Беречь ведь станут яростно! Есть кому испортить невесту государя Петра, есть. Правительница Софья небось локти себе кусать станет, как проведает, что Дуню Лопухину за братца Петрушу сговорили. Сейчас-то она всем заправляет с советничками своими, князем Василием Голицыным да Федькой Шакловитым, а на Москве даже поговаривают, что и с тем, и с другим вышло у нее блудное дело. Царя же Петра с царем Иваном она лишь тогда зовет, когда заморских послов принимать надобно или большим крестным ходом идти.

Хитрит Софья – поспешила братца своего Иванушку женить, чтобы он первым наследника престолу дал. У государя Алексея Михайлыча от Марьи Милославской тринадцать, кабы не соврать, было чад, а потом троих родила ему молодая Наталья Нарышкина. Софья и разумеет, что царь из Иванушки – как из собачьего хвоста сито, ибо разумом Иванушка скорбен. Вот и не хочет, чтобы ее родня власть упустила. Они-то с Иванушкой, равно как и покойный государь Федор, и все царевны-сестры – от рода Милославских, а Петр – от рода Нарышкиных.

Дождалась, перехитрила Софью Наталья Кирилловна – вырос у нее сынок бойкий да разумный. Теперь оба государя-соправителя будут женатые, а стало быть, взрослые мужи. Иванушке-то все безразлично, а для Петра женитьба – важна. Ведь одно дело – потешных по оврагам гонять, и другое – мужем быть. А ежели еще Дуня первая родит чадо мужеского полу – так и вовсе победа одержана!

Софья-то хитра: женив Иванушку на Прасковье Салтыковой, быстро озаботилась, чтобы в постельничьих у государя Ивана оказался Васька Юшков – красавец черномазый. Но Наталья Кирилловна хитрее – Дунюшку высмотрела. Уж ежели Дунюшка государю сынов не нарождает – то кто ж тогда? Дуня тихая, ласковая, послушная, рукодельница, красавица – чего ж еще надобно?

Одно плохо – не сманить теперь Дунюшку в обитель. Хотя и раньше-то на это надежды было мало...

Тут на ум Аленке ни с того ни с сего пришел радостный крик, которым проводила ее с монастырского двора безумная Марфушка: «Убиенному женой станешь! За убиенного пойдешь!» Вдруг поняла Аленка, что эти слова означают. Видно, Марфушка предвидела, что предстоит ей стать Христовой невестой. А Аленка и сама того хотела.

Сейчас же, сидя на сундуке с двумя кокошниками в руках, она вдруг поняла, что Марфушкино предсказание сбудется не так уж скоро. Ведь ежели Дунюшка возьмет ее с собой в Верх и поселит там с царицыными мастерицами, то и на богомолье-то отпроситься будет немалая морока. Впрочем, сейчас недосуг беспокоиться о будущих неприятностях.

Как и положено перед всяким делом, Аленка нашла взглядом образа.

– Господи, помоги! – попросила она вслух.

Дунюшка в предсвадебной суматохе обмирала от мечты о кудрявом женихе с соколиными бровями, а Аленкин жених глядел – как из мрака в серебряное окошко. И вдруг девушка поняла, что он у нее – иной, что свет исходит от его лика и золотых волос.

Озарение было мгновенным. Как будто солнце глянуло из-под темных бровей глубокими, несколько впалыми и раскосыми глазами!

Аленка зажмурилась. А когда открыла глаза – лики взирали отрешенно и строго. И уже не было в них внезапной золотой радости. Был лишь укор: тебя, бестолковую, за делом послали, а не сидеть тут, зажмурясь!

Аленка вздохнула – уж очень все сложилось быстро да некстати...

2

Впопыхах женили государя Петра Алексеича – обвенчали с Дуней Лопухиной 27 января 1689 года. Почему спешка? Да потому что супруга государя Ивана Алексеича, Прасковья Федоровна, все не тяжелела и не тяжелела, а тут вдруг возьми да затяжелей. Вот Наталья Кирилловна и засуетилась: и без того морока, когда в государстве два как бы равноправных, а на деле одинаково бесправных царя, и без того только и жди пакостей от их старшей сестрицы Софьи, которая с того дня, как помер государь Алексей Михайлович и взошел на трон старший из царевичей, Федор Алексеич, все загребала и загребала под себя власть... А уж коли у Ивана у первого появится наследник, то как бы любезная Софьюшка не исхитрилась да не сотворила так, чтобы дитятку престол достался. Разумеется, пока дитятко в разум войдет, править будет она. Как, впрочем, и правила все эти годы при двух царях-отроках.

Все шло к тому, чтобы Петра отстранить, да только родилась у Прасковьи 31 марта 1689 года девочка – царевна Марья. Пожила, правда, недолго – 13 февраля 1690 года скончалась. И вовремя поторопилась умница Наталья Кирилловна – хоть государственного ума Бог не дал, зато по-бабьи была хитра.

Самому-то Петру не жениться хотелось, а делом заниматься. Дело же у него – на Плещеевом озере под Переяславлем-Залесским, что в ста двадцати верстах от Москвы, нашлось.

После того как в Измайловских амбарах, где хранилась рухлядь двоюродного дяди царского, Никиты Ивановича Романова, отыскалось суденышко, именуемое «бот» и способное ходить под парусом против ветра, стал Петр Алексеич искать ему воду под стать. Когда же нашлась большая вода, нашлось и место, где ставить верфь, – устье реки Трубеж, впадающей в Плещеево озеро. Озерцо – тридцать верст в окружности, глубина превеликая. Тут только и развернуться, а матушка вдруг женить собралась...

Петр и разобрать-то толком не успел, каково это – быть женатым, как началась Масленица, за ней – Великий пост, и вот уже им с Дуней стали стелить раздельно.

А едва в апреле высвободилось из-под льда озеро, Петр ускакал свои корабли строить. Наталья Кирилловна беспокоилась сильно, а Дуня – того сильнее. Прискакал – обрадовалась было, да только не миловаться он явился, а потешных гонять по Лукьяновой пустоши. Три дня там пропадал и всех молодых спальников и стольников с собой увел, включая малолетнего князя Мишеньку Голицына, коего по младости в барабанную науку определил. Лишь потом наведалься справить свою царскую радость – и с тех коротких майских ночей затяжелела Дуня.

Противостояние между правительницей Софьей и Петром сохранялось, однако, по-прежнему. И вообще дела у царской семьи складывались так, как если бы посадские бабы склоку затеяли. И то: когда ж так бывало, чтобы в Кремле – четыре царицы, одна царевна-правительница и два устранившихся от дел юных царя: один – по умственной и телесной неспособности, другой – по молодости лет? А царицы – вот они! Самая старшая – вдова государя Алексея Михайловича, Наталья Кирилловна, роду Нарышкиных. Затем – вдова государя Федора Алексеича, Марфа Матвеевна, роду Апраксиных. Затем – государыня Прасковья Федоровна, роду Салтыковых, супруга маломощного государя Ивана. И, наконец, государыня Авдотья Федоровна, Дуня, роду Лопухиных. И от того, как эти особы и их многочисленная родня между собой ссориться и мириться станут, судьба огромной державы зависит.

Собственно, у Софьи, уверенной в своих стрельцах, не было большой причины для беспокойства: Петр, дай ему волю, так бы и пропадал на Плещеевом озере. Но с чего вдруг ей взбрело на ум, что Петр собирается с потешными брать приступом Кремль?! Бояться за власть свойственно и монархам, и женщинам, но не до такой же степени! Сколько в Преображенском потешных и сколько на Москве – стрелецких полков?!

Однако Софья сочла нужным пожаловаться стрельцким начальникам, что царица Наталья-де снова воду мутит, и в очередной раз пригрозить: коли я более стрельцам не годна, то готова оставить свое бунташное государство. Куда бы, правда, она отправилась, если б стрельцам вдруг надоела обветшавшая за много лет угроза, – это, наверное, Софье в голову не приходило.

К тому времени на Москве за ней числили двух избранных – князя Василия Голицына и Федьку Шакловитого. Последний и развил бешеную деятельность: собирал в Кремле сотни вооруженных стрельцов, посылал в Преображенское лазутчиков... Толку от них не добившись, сам туда отправился, был арестован людьми Петра, сразу же выпущен... Словом, началась мелкая возня, грозившая затянуться надолго. Должно было произойти нечто, задуманное для нарушения опостылевшего равновесия.

Наступил август 1689 года.

3

Стол был длинный, едва ли не во всю светлицу. Перед каждой мастерицей – свои узелки с пестрыми лоскутьями. Еще на столе до штуки тонкого полотна приготовлено, чтобы сорочки наконец скроить, но пока не до тонких рукоделий девкам: царские стольники уйдут с богоданным государем чистехонькие, а вернуться через неделю – словно с Ордой воевали, живого места на кафтанах нет. Уморили починкой, будь она неладна!

Досталось этой починочной радости и Аленке. Боярыни зорко следили, чтобы заплатки цвет в цвет подобраны были. Хоть и опальный двор в Преображенском, а негоже, чтобы царевы люди в отрешках позорных ходили, недругам на злорадничанье.

Но нет худа без добра: если б девки сейчас дорогие заморские ткани кроили, персидские или иранские, если б волоченым золотом пелены расшивали или ежели б жемчуг низали, то расхаживали бы вдоль стола верховые боярыни, строго наблюдая порядок и блюдя каждое жемчужное зернышко. Ныне же одни верховые боярыни вместе с Натальей Кирилловной и государем в Измайлово укатили – справлять именины молодой царицы, Авдотьи Федоровны, другие в царицыных хоромах странницу слушают, и девкам можно вздохнуть повольнее.

Верховые! Были верховыми – да только Верх-то в Кремле остался... Царицына Светлица! Была Светлица – а теперь так, огрызочки. Часть мастериц в Москве при правительнице Софье остались, а других Наталья Кирилловна с собой по подмосковным возит – из Измайлова в Преображенское, из Преображенского в Коломенское, оттуда – в Алексеевское, а оттуда – к Троице. И Москву ее девки только зимой видят – когда не очень-то в летних царских дворцах погреешься...

Карлица Пелагейка в потешном летнике, сшитом из расписных покровок, все же крутилась поблизости. Боярыню хоть сразу видно, а эта кикимора на коротких ножках вдруг вынырнет из-под стола – и окажется, что все-то она слышала, все уразумела.

Правда, Аленка Пелагейки не боялась. Во-первых, ни в чем дурном пока замечена не была, а во-вторых – едва ли не лучшая рукодельница из молодых. Даже сама государыня похвалила ее как-то за кисейную ширинку паутинной тонкости, по которой был наведен нежнейший и ровнейший узор пряденым золотом.

Одно только тут Аленку допекало – девичьи тайны. Когда в одной подклети ночует десятка с два девок да молодых вдов, когда нет за ними ни родительского, ни мужнего призора, а за стенкой – молодые парни подходящих лет, тоже без присмотра, то что на уме? Вот то-то и оно, что это самое – стыдное...

Все девки были здешние, бывших мастериц дочки, в царицыной Светлице выросшие, одна Аленка – со стороны, новой царицей да новой ближней боярыней, Натальей Осиповной Лопухиной, приведенная. Дал бы ей Бог нрав полегче и пошустрее, заглядывалась бы, глядишь, и она на статных всадников в светло-зеленых кафтанах. Авось и проще бы ей тогда жилось.

Работая, девки-рукодельницы тянули песню, но не от большой любви к пению – просто пока все поют, двум подружкам удобно втайне переговорить, склонившись низко и как бы упрятавшись за два составленных вместе высоких ларца со швейным прикладом.

– «Что у ключика у гремучего, что у ключика у гремучего, у колодезя у студеного...» – повела новую песню Феклушка, девка, которую, видно, только за песни в царицыну Светлицу и взяли, потому что от ее работы Аленка лишь сердито сопела.

– «...у колодезя у студеного», – поддержали прочие пока еще нестройно, прилаживаясь.

Пелагейка показала над краем стола широкое щекастое лицо, которому красная рогатая кика с медными звякушками шла примерно так же, как корове – седло. Теперь уж держи ухо востро: может и стянуть нужную вещицу. Аленка подвинулась на скамье – подальше от пронырливой карлицы.

Тем временем Феклушка, кинув взгляд на дверь, хитро подмигнула мастерицам и вполголоса завела другую песню:

– «Что не мил мне Семен, не купил мне серег, что не мил мне Семен, не купил мне серег! А что мил мне Иван, он купил сарафан, а что мил мне Иван, он купил сарафан!..»

– «Он на лавку положа, да примеривать стал, он на лавку положа, да примеривать стал! – негромко подхватили все мастерицы, торопясь, как бы за лихой песней их не застали. – Он красный клин в середку вбил, он красный клин в середку вбил!..» – И буйно расхохотались – все разом.

Аленка изумилась было глупости этой короткой песни, но тотчас уразумела, что означают последние слова. Огонь ударил в щеки, она быстро закрыла лицо ладошками.

Пелагейка шустро схватила ее шитье, государев зеленый становой кафтан с наполовину выданным рукавом, и скрылась с ним под столом. Аленка соскользнула с лавки следом и, стоя на корточках, ухватилась за другой рукав. Пелагейка свою добычу не удерживала.

– Охолони... – шепнула лишь. И вынырнула уже по ту сторону стола, возле вдовушки Матрены, женщины основательной и богомольной, к девичьим шалостям притерпевшейся.

Аленка же так и осталась на корточках под столом.

Скорее бы Дунюшка приехала!

Три дня назад увез государь Петр Алексеич Дуню в Измайлово, а сегодня уж Преображенье... Вроде должны вернуться.

Аленка выбралась наружу, оглянулась – никто вроде бы на нее внимания не обратил. И, не отпрашиваясь, выскользнула из горницы. Решила разведать: вдруг бояре уже готовятся государя с Дунюшкой встречать?

Неслышно промчавшись переходами и не заметив, что следом крадется Пелагейка, Аленка осторожно заглянула в столовую палату. Увидела на лавках вдоль стен осанистых бояр – правительница Софья присылала к Петру тех, кто поплоче родом и чином. Они исправно скучали всюду, куда переезжала опальная царица с семейством, по любой жаре носили долгополые шубы и горлатные шапки едва ль не в аршин высотой и сидели на скамьях по полдня, а то и по целому дню с достоинством, пригодным для приема иноземных послов. И лишь на то малое зимнее время, что Наталья Кирилловна с окружением проводила в Кремле, делались они как бы ниже ростом, и шубы тоже как бы поменьше места занимали, ибо там, в Кремле, были другие бояре – поделившие промеж себя лучшие куски придворного пирога.

В палате было трое, но третий – князь Борис Голицын – спал, привалившись к стене. Спал, надо полагать, не с усталости, а с хмеля – эта его добродетель всем давно была известна. Не задумавшись, почему он вместо поездки со всеми в Измайлово спит себе в Преображенском, Аленка втиснулась в палату и ловко уместилась промеж занавесок.

Другие два боярина, усевшись вольготно, вели втихомолку речи, за которые недолго было и спиной ответить, кабы нашлось кому слушать.

– А то еще говорят, будто царенок наш – не царского вовсе рода, – сказал с опаской боярин, чей живот с немалым, видно, трудом приходилось умащивать промеж широко расставленных колен. – Ты посмотри – в покоях чинно не посидит, уважения не окажет.

– И какого же он, Никита Сергеич, рода, как ты полагаешь? – заинтересовался другой, старавшийся сидеть похоже, но живота подходящего не имевший. – То, что он на покойника государя Алексея Михалыча не похож, мы и сами видим. В нем, окаянном, росту – на двух покойников хватило бы.

– Я о том и толкую, что ни в царском роду, ни у Нарышкиных таких не водилось! – обрадовался собеседник. – А знаешь ли, кого родителем называют? Сатанинское отродье – Никона...

– Никона?! Да ты, Никита Сергеич, с ума, чай, съехал! – от изумления боярин забыл и голос утишить. – Да ты вспомни, где тогда Никон-то был! Он, охальник и греховодник,

в Ферапонтовом монастыре грехи свои о ту пору замаливал! Да и сколько ему, Никону, тогда лет-то сравнялось? Совсем уж трухлявый старец стал...

– Кто, Никон – трухлявый старец?! А не попался ли тебе, Андрей Ильич, доносец его келейника, старца Ионы?

– Что еще за старец Иона? – высокомерно осведомился Андрей Ильич.

– То-то... Вольно тебе, свет мой, сумасбродами добрых людей честить, а дела-то истинного и не знаешь! А я тот доносец видел, мне его покойный государь за диковинку показывал. Посмеялись... К патриарху-то нашему бывшему женки и девки как будто для лекарства приходили, а он с ними в крестовой келье один на один сидел и обнажал их донага, будто для осмотра больных язв – прости, Господи!

– Прости, Господи! – торопливо согласился старенький стольник Безобразов.

– А ты говоришь – дед трухлявый! Легко тебе так-то, не знаючи...

– Про Никоновы блудные дела и я ведал, – приосанясь, молвил Андрей Ильич. – А только к царенку нашему этот сукин сын отношения не имеет – его и на Москве-то в те поры не было!

– Как же? – расстроился Никита Сергеич. – Неужто врут люди? Явственно же говорят – Никон, Никон!..

– А не ослышался ли ты, часом? – прищурился Андрей Ильич. – Может, не Никон то был, а Тихон? Стрешнев Тихон Никитич? Который потом в воспитатели к царевичу был назначен? Вот про него я нечто подобное слыхивал... Служил при государе Федоре Алексеиче стольником, похоронить государя не успели – был пожалован спальником, а как нашего царенка с царем Иванушкой на царствие венчали, он уж царским дядькой стал! А на следующий день в окольничьи бояре был пожалован! Как полагаешь – проста ли это?

– Да что ж я, совсем с ума съехал, чтобы Никона с Тихоном спутать? – возмутился Никита Сергеич. – Свет Борис Лексеич! Рассуди хоть ты нас, ведь этот изверг меня непутем честит!

Голицын счел нужным проснуться.

– Слушать вас обоих скучно, – сказал он лениво. – От баб своих, что ли, этих дуростей набралось? Ведь доподлинно известно, когда Петр был зачат. Наутро после той ноченьки ученый чернец Симеонка Полоцкий ни свет ни заря к государю Алексею Михалычу пожаловал с воплями: мол, звезда невиданная явилась и славного сына предвещает! А государь в мудрости своей и день зачатия, и обещанный день рождения записал и к дому Полоцкого караул приставил. Государю-то, чай, виднее было, кто с царицей ту ночь ночевал!

Бояре растерянно переглянулись.

– А жаль... – едва не хором проворчали оба и, покосившись на Голицына, добавили для бережения: – Спаси, Господи!

– И нечего такими отчаянными словами добрых людей смущать, – с тем Борис Алексеевич опять откинулся, прилачился поудобнее и закрыл глаза.

Тут бояре заговорили о делах, совершенно Аленке непонятных, и ясно ей стало, что ничего она от них о прибытии государя не услышит. Не шелохнув занавеской, выпорхнула Аленка из столовой палаты и – лицом к лицу столкнулась с Пелагейкой.

– Не бойся, девка, – улыбнулась ей карлица, – уж я-то не скажу.

– Ой ли? – Аленка все же отстранилась от нее.

– А что мне с тебя проку? Нешто у государыни время есть еще и о тебе, свет, беспокоиться? Я ей про дела важные доношу. – Пелагейка сообщила это без всякого стыда, даже с достоинством.

Государыней в Светлице звали Наталью Кирилловну, а Дунюшку – как когда, хотя именно она, царева жена, и была царицей настоящей, а Наталья Кирилловна – вдовствующей.

– А когда государыня к нам опять будет? – спросила Аленка, сообразив, что уж эта проныра должна такое знать.

– А вот сегодня и обещалась. Да ты не бойся, свет! Ты мне, Аленушка, сразу приглянулась – не охальница, не бесстыдница, девка богомольная. Я-то в Светлице на всякое насмотрелась. А на тебя глянешь – сердечко радуется. Через годик-другой, коли государыне угодишь, быть тебе в тридцатницах!

– Куда мне в тридцатницы... – вздохнула Аленка. – Это ж честь такая, а я еще неумеха рядом с теткой Катериной, теткой Авдотьей и теткой Дарьей. И поучиться у них сейчас не могу...

Тридцатницы! Говорят, еще с царицы Авдотьи Лукьяновны, благоверной супруги государя Михаила Федоровича, повелось, что в Светлице всегда есть тридцать мастериц наилучших, царицыных любимиц. Ежели одна из них уходит по старости или по болезни, то государыня другую тридцатницей нарекает, так что всегда их в Верху – ровно три десятка. Сейчас же самые знаменитые мастерицы-тридцатницы – Катя Соймонова, Дуня Душецкая и Даша Юрова – в Верху остались, на правительницу Софью работают. В черном теле держит Софья младшего братца Петрушу, денег жалеет. Братца Ивана холит и лелеет, потому что он – из Милославских, а братца Петра унижает – не холить же нарышкинское отродье!

– Твоя правда, светик, – согласилась Пелагейка. – Ну да ничего, мы люди простые, подождем. А только знаешь, что мне странно показалось?

– Что, Пелагеюшка?

– А то, что государыня тебе муженька никак не подыщет. Сколько годков-то тебе?

– На Алену равноапостольную восемнадцать исполнилось.

– Да, теперь не то, как раньше бывало. Раньше ты и горя бы не ведала! Думаешь, с чего девки бесятся? Да раньше завсегда у них свахой сама государыня была, а теперь никому до горемычных дела нет. – Пелагейка горестно скривила лицо. – Раньше, светик, как увидит государыня царица, что девица в возраст вошла, – сама жениха присмотрит. Сколько свадеб так-то сыграли! А теперь-то живем не во дворце, а в колымаге, прости господи, Верх только зимой и видим... Вот девки и шалят... А коли бы ты в тридцатницы вышла, тебе бы муженька работающего сыскали, вы бы себе домишко на Кисловке купили, детушек завели бы...

– Да я, Пелагеюшка, все никак в обитель не отпрошусь, – призналась Аленка. – Боярыня Наталья Осиповна сперва обещалась, потом оставаться велела. А я в Моисеевской обители сговорилась было, меня там и старицы знают, и матушка игуменья помнит...

– В обитель? В Моисеевскую? Побойся Бога, девка! Куда тебе в черницы? – замахала Пелагейка на Аленку короткими ручками. – Это ежели бы ты какая хромая или кривая уродилась, или вовсе бестолковая – тогда и шла бы мирские грехи замаливать. А ты ж красавица! Чего это тебя в обитель-то потянуло? Чай, старухи с пути сбили? Сами-то нагулялись, а тебя, дурочку молоденькую, раньше срока с собой тянут! Хотя... А не потому ли ты, девка, к черницам собралась, что с молодым каким неувязочка вышла? – хихикнула вдруг карлица. – Скажи, свет, не стыдись! Уж в этом-то деле я тебе помогу.

– Да господь с тобой, Пелагеюшка! – отпрянула Аленка. – Ни с кем у меня неувязки не было!

– А и врешь же ты, девка... – тихо рассмеялась Пелагейка. – В твои-то годы – да без этих мыслей? Ты скажи, я помогу! Думаешь, коли я – царицына карлица, так уж этих дел не разумею? Я, свет Аленушка, такие сильные слова знаю, что, если их на воду наговорить и той водой молодца напоить, – с тобой лишь и будет.

– И что за слова, Пелагеюшка? – Аленка знала, что всякие заговоры бывают – и такие, где Богородицу на помощь зовут, и такие, где нечистую силу призывают, и спросила потому строго, всем личиком показывая, что зазывательнице нечистой силы от нее лучше держаться подале.

– Слова праведные, – убежденно заявила Пелагейка. – И не бойся ты, девка, бабьего греха. Сколько раз бывало – сперва парень с девкой сойдутся, а потом – и под венец. Ты-

то у бояр жила, у них пострее. Однако нигде на девок такого обмана нет, как на Москве! Придут сваты – а к ним невестину сестрицу выведут или вовсе девку сенную! Так что лучше уж сперва сойтись – так оно надежнее выйдет... – снова хихикнула карлица. – Ведь и ко мне, Аленушка, сватались...

– К тебе?..

Глаза у Аленки чуть ли не на лоб вылезли. Присвататься к карлице Пелагейке?!

– А что? Нешто я муженька не прокормлю? Но я так рассудила: детушек мне все одно не родить, тогда уж лучше в Верху состарюсь. А как придет пора грехи замаливать – определяют меня в хорошую богаделенку и присмотрят там за мной, старенькой. Нас, девок верховых, как смолоду в Верх возьмут, так ведь до старости и обиходят.

– А сколько же тебе лет, Пелагеюшка? – Аленке впервые пришло в голову, что Пелагейка не так уж стара, как можно подумать, глядя на ее широкое, щекастое лицо.

– А тридцать третий уж миновал, Аленушка. Ты меня слушайся, я плохому не научу. Неужто и впрямь у тебя ни с кем ничего не было?

– Господь с тобой, Пелагеюшка, у нас – строго! – поняв, что только это соображение и доступно карлице, отвечала Аленка.

– Да я гляжу, и молодую государыню в строгости взрастили, – сделала карлица постно-рассудительную рожицу. – Ты ведь с ней сызмала жила? При ней и росла?

– Сколько себя помню, – подтвердила Аленка.

– А ведь род-то дьячий, небогатенький, невидный... Только и славы было, когда дедушка, Аврам Никитич, у государыни Натальи Кирилловны дворецким был, а выше и не залетали, – прищурилась Пелагейка. – А может, так оно и лучше. Пожила Авдотья Федоровна по-простому, порадовалась девичеству своему, а теперь узнала цену богатому житью. Ведь ей уж девятнадцать было, когда государыня ее избрала? Еще бы годок-другой – и перестарочек. Для кого ж ее берегли-то, свет, что замуж не отдавали?

– Да не сватали что-то, – честно призналась Аленка.

– А может, сватали, да тебе не докладывали? Может, кого по соседству приглядели, да и сговорились без лишнего шума?..

– Да нет же, Пелагеюшка, я бы знала! Да и не было никого по соседству подходящего. Вот разве что у Глебовых... – Тут по вспыхнувшим глазкам Пелагеюшки Аленка сообразила, что, кажется, сболтнула лишнего. – Да того Степана уже, кажись, сговорили! – спешно добавила она.

– Степана? – переспросила карлица. – Уж не того ли, что к потешным взять хотели?

Аленка молча развела руками: не знаю, мол.

– Чем же не угодил? Или собой нехорош? – домогалась Пелагейка.

– Да хорош он собой, и ровесник Дунюшке... Авдотье Федоровне, – поправила Аленка. – Да только такого и на уме-то ни у кого не было.

– А жили, стало быть, по соседству... – Карлица усмехнулась. – Чистая у тебя душенька, свет Аленушка. Может, и верно, что ты в обитель собираешься. Однако вспомни, коли полюбится кто, про мои сильные словечки. Я и присушить могу, и супротивницу проучить, и тоску навести, и тоску отогнать. Меня – не бойся! Чего душенька пожелает – то и бери, а грех замолить времени хватит. – Она потянулась к Аленкиному уху. – Знаешь, как мы, бабы, говорим? Дородна сласть – четыре ноги вместе скласть!..

С тем, рассмеявшись, и убежала Пелагейка вперевалочку, и показалось Аленке, что шустрая карлица на деле куда моложе ее – скромницы-неулыбы, которая за полгода верхового житья даже подружки себе не нажила, а все при старухах да при старухах...

Однако то, что хотела, Аленка у Пелагейки узнала: еще часок-другой – и вернется Дунюшка! А что, коли выбежать встретить? Замешаться среди девок сенных, ответить улыбкой на улыбку, когда ближние боярыни Дунюшку под руки из колымаги выводить будут...

Так Аленка и порешила.

Проходила через сельцо Преображенское проезжая дорога Стромынка – шла от самой Москвы, оставляя чуть в стороне Измайлово, и далее. Именно по Стромынке должны были возвращаться тяжелые колымаги из Измайлова, вот Аленка на самую дорогу и вышла.

Тихо и пусто было – все от жары попрятались. Но вдруг издали прилетел стук конских копыт, и Аленка заволновалась: не из Измайлова ли скачет гонец предупредить, чтобы готовились встречать? Однако прислушалась – нет: всадник скакал с другой стороны, из Москвы.

Был он, по случаю жары, в одной желтой рубахе подпоясанной, шапку, чтобы на скаку не потерять, в руке держал. Подъезжая ко дворцу, придержал коня, потом спешился, но не во двор его повел, а все задами, задами (примерно тем же путем, каким выбиралась на Стромынку сама Аленка). А встретил того всадника у изгороди сам Борис Голицын – видать, ждал.

– Говори! – приказал нетерпеливо.

– Плещеева схватили! – спрыгнув наземь, без всякого излишнего почтения доложил гонец.

– Добро! Это нам на пользу. Как дело было?

– Плещеев, как к Кремлю подъехал, сразу не спешился. Там Федькины прихвостни, Гладкий со Стрижовым, стояли со сторожевыми стрельцами. Плещеев крикнул, что от государя Петра. Гладкий ему: тебя-то, мол, нам и надо! И – за ногу его, с седла стаскивать. Плещеев – за саблю, саблю отняли, а самого – бить. Потом в Верх потащили, к Федьке Шакловитому. А Гладкий стрельцам говорит: ну, мол, теперь начнется! Они на нас ночью собирались, а мы, как они поближе подойдут, в набат ударим!..

– Стало быть, нашли письма? – перебил князь.

– Одно нашли. То, где писано, что потешные придут из Преображенского царя Ивана с сестрами побить. Куда второе задевалось – одному Богу ведомо. Может, сыщется еще, – предположил гонец.

– Да ну его, хоть одно до Софьи дошло – и ладно. Проняло, выходит, голубушку?

– Да уж проняло! В Кремле все ворота на запоре, никого не пущают! Того гляди, и впрямь по слободам за стрельцами пошлют.

– Добро... – Голицын задумался. – Возвращайся, Кузя. И держи двух-трех коней под седлом. Где подполковнику Елизарьеву с товарищами в ночь стоять?

– Да на Лубянке, чай.

– Вот пусть Мельнов с Ладогиным от него ни на шаг не отходят. И как только он словечко вымолвит, что Шакловитый в эту ночь вроде как собрался медведицу с медвежонком насмерть уходить, пусть домогаются, чтобы их и послал в Преображенское.

– В эту ночь, стало быть?

– С Божьей помощью, – подтвердил князь. – Немного уж потерпеть осталось.

Кузя усмехнулся в густую бороду, неспешно вставил ногу в стремя – и Аленкин глаз не уловил, как стрелец взвился в седло. Конь под ним вытянул шею и заржал.

– Нишкни, черт! – прикрикнул на него Кузя.

– А ну, катись отсюда! – совсем по-простому приказал Голицын. – Это ж он царский поезд учуял! Государь из Измайлова возвращается, и тебя лишь мне тут недоставало!

Кузя весело глянул на него сверху вниз и послал своего крепкого гривастого конька вперед.

Голицын перекрестил уносящегося всадника и пошел назад – встречать у главного дворцового крыльца колымаги с обеими государынями, Натальей Кирилловной и Авдотьей Федоровной, с царевной – государевой сестрицей Натальей Алексеевной, с верховыми боярынями и всяческой женской прислугой.

За ним, крадучись, поспешила и Аленка.

Вспомнила вдруг: нужно же успеть в подклет за подарком Дунюшке! Приобрела она его еще весной, на Пасху, и упрятала основательно – из рабочего-то ларца товарки могли и стащить, как таскали друг у дружки сласти. И не было Аленке никакого дела до загадочных затей Голицына. И невдомек ей было, что князь, наскучившись долгим противостоянием государя Петра Алексеича и его матушки с правительницей Софьей, решил малость поторопить события.

Едва Аленка успела достать завернутый в красивый лоскуток подарочек, как заметила ее заглянувшая ненароком в подклет старая постельница Марфа и погнала в светлицу. А там уж мастерицы, кинув работу, облепили окна – глазеть на царский поезд.

Четыре большие расписные колымаги медленно подъехали к крыльцу. Издали посмотреть – вроде прежняя царская роскошь, но одна из мастериц постарше шепнула со вздохом:

– Не то, что раньше. Тогда в царском поезде полсотни колымаг считали, да за ними – до сотни подвод. Вот как государь-то в Измайлово ездил!

– То-то и оно, что государь... – быстрым шепотком отвечала ей другая. – Был бы жив государь – Сонька-то и не пикнула бы...

Аленке и взглянуть не досталось – росточком мала, статные пышные девки оттеснили ее от окошечка. Однако она знала, как быть: у них с Дуней давно уж повелось встречаться в крестовой палате. Главное было – проскользнуть туда незамеченной.

Хорошо, помогла Пелагейка. Увидев, что Аленка среди сенных девок затесалась, поманила ее пальчиком: ступай, мол, за мной. А Пелагейке многое дозволено.

В крестовой палате образов было не счесть – иные с собой из Кремля привозили, иные так тут зиму и зимовали. Аленка перекрестилась, помолилась – а тут и Дуня вошла, шурша тафтяной распашницей, накинутой поверх тонкой алой рубахи. Замучила ее жара, пока она в колымаге из Измайлова добиралась, и ближние женщины поспешили снять с нее тяжелый наряд.

Похорошела Дуня, а главное – улыбка с уст не сходила. И раньше-то не шла – плыла, а уж теперь, казалось, и вовсе не перебирает ногами, а стоит на облачке, и облачко ее несет...

– Аленушка!

Но не к подружке, а к книжному хранилищу поспешила Дуня, и рука сразу нашла тонкую рукописную книжицу, зажатую меж толстых божественных.

– С ангелом тебя, Дунюшка! – Аленка быстренько развернула лоскуток. Неизвестно, много ли у них на беседу минуточек.

– Ах ты господи!.. – умилилась юная государыня.

В ладошках Аленки сидела, как живая, птичка деревянная, искусно перышками оклеенная. И глазки вставлены, и носок теменький – голубочек малый, да и только.

– Вот радость-то... – любясь голубком, прошептала Дунюшка. А более ни слова сказать не успела – обе услышали шорох. – Схоронись!

Аленка присела за невысоким книжным хранилищем.

В крестовую вошла статная сорокалетняя женщина в черной меховой, невзирая на жару, шапочке, бледная от вечного сидения в комнатах, с лицом, уже не округлым, а болезненно припухлым и отечным, но с глазами, по-молодому большими и темными, с бровями дугой. То была вдовствующая государыня Наталья Кирилловна, кою не только недруги, но и приверженцы называли порой медведицей. Государыня дала рукой едва заметный знак, и, повинуясь, вся ее свита – и ближние боярыни, и карлицы, и боярышни, – осталась за дверью.

Аленка в ужасе съежилась, Дуня же, быстро положив книжицу на высокий налой, вышла на середину и встала перед свекровью – не менее статная, но всюю румяная, глаза опущены, руки на груди высоко сложены. Любо-дорого посмотреть!

– Чем, свет, занимаешься? – царица подошла к налою, коснулась рукодельной книги. – Не молишься, а виршами тешишься?

Дуня молча кивнула. Уразумела, умница, что государыня в сварливом расположении духа, и выгораживаться не стала.

– А тебе бы, свет, про божественное почитать, – приступила к выговору Наталья Кирилловна. – Когда при мне была, постные дни, помню, всегда соблюдала. А как замуж вышла – у тебя, свет, память отшибло?

Дуня покраснела так, что аж взмокла вся, бедняжка. Однако опять ни слова не молвила.

– Отшибло, видать, – продолжала государыня. – Ну так я напомним! Таинство брака запрещается накануне среды и пятницы, перед двенадцатыми и великими праздниками, а также во все посты! У нас что ныне?

– Пост, Успенский, – прошептала Дуня.

– И какой же то пост?

– Строгий, матушка...

– Гляди ты, помнишь! – притворно удивилась царица. – А таинство брака? Что молчишь? Думаешь, не донесли мне? Гляди, Дуня. Я с покойным государем ни разу так-то не оскоромилась – и ты сыночка моего в грех не вводи.

– Прости, государыня-матушка.

– Бог простит. И чтоб впредь такого не было! – вдруг крикнула царица, да так страшно, что Дунюшка аж отшатнулась. – Не для того я тебя из бедного житья в Верх взяла! – Тыча перстом, Наталья Кирилловна добавила уже потише: – Ты царскую плоть во чреве носишь – тебе себя блюсти надобно! – С тем, плавно повернувшись, и вышла.

– Ушла? – еле слышно спросила из-за книжного хранилища Аленка.

– Ушла... – Дуня быстренько перебежала к подружке, присела рядом и тихо рассмеялась.

– Что ты, Дунюшка? – удивилась Аленка.

– Он ко мне ночью прокрался! – зашептала Дуня. – Я ему: Петруша, грех ведь! А он мне: не бойся, замолим!..

– А ведь грех, – согласилась с Петром Аленка. – Как же ты?

– Вот с Божьей помощью замуж тебя отдадим – поймешь! Отказать-то как? Себе ж больнее сделаешь, коли откажешь! Аленушка, он уж ко мне под одеяльце забрался, и жарко вмиг сделалось, а на пол ступить – досточки заскрипят... А уж как в самое ушко зашептал – и вовсе сил моих не стало... Ну, думаю, а и замолю потом!

– Его-то небось она корить не станет, – неодобрительно сказала про государыню Аленка.

– Уж так было хорошо... – Дуня встала, выпрямилась, вздохнула всей грудью. – Бог даст, и ты мужа полюбишь. А то заладила – в обитель да в обитель... Вот узнаешь, как с муженьком-то сладко, – вмиг забудешь. Ох, Аленушка, и за что мне Господь такую радость послал?..

Слушая эти скромные слова, Аленка испытала чувство, которое и назвать-то вовеки не решилась бы, – а то была ревность.

Дунюшка относилась к ней вроде и по-прежнему, однако душою уже не принадлежала, и это было мучительно. Аленке припомнилось, каково им обоим жилось в лопухинском доме, когда и в крестовую палату – вместе, и рукодельничать – вместе, и в огород за вишеньем и смородиной – непременно вместе... И все яснее ей делалось, что Дунюшка была к ней привязана лишь до поры, чтобы готовое любить сердечко вовсе не пустовало. А явился суженый – высокий, черноглазый, кудрявый, – и сердечко, от прежних девичьих привязанностей освобождаясь, все ему навстречу распахнулось! Горестно было Аленке глядеть на счастливую Дунюшку.

– А государыня меня любит, да и отходчива она, – полагая, что подружка переживает из-за полученного от Натальи Кирилловны нагоняя, сказала Дуня. – Добра желает и Петруше, и мне...

Насчет Петра – и то Аленка сомневалась. Казалось ей, что мать, желающая сыну добра, не станет его с сестрами ссорить. Софья-правительница – сводная сестра ведь, от этого никуда не денешься. А коли не сама государыня – так братец, Лев Кириллыч, племяннику в уши

напоет. Или вон тот же Голицын – завидует он братцу Василию, что ли, не понять... Двоюродные братья – а вот поди ж ты, как их по углам судьба развела. Василий – любимец и главный советчик Софьи, Борис – любимец и главный советчик Петра. А Петру Алексеичу лишь в мае семнадцать исполнилось, Аленка – и та его на год старше.

Однако Петра Аленка крепко невзлюбила. Да и как прикажешь сердцу любить этого долговязого, что Дунюшку у нее отнял? Хоть и государь, а все одно – долговязый...

Дуня взяла наконец у Аленки оперенного голубка.

– Как живой, того и гляди – заворкует, – умилившись, сказала она и, положив птицу на ладонь, поднесла клювиком к губам: – Гули, гули...

Коснулся деревянный клювик царицыных уст, и те уста принялись его мелко-мелко целовать с еле слышным чмоканьем. Тешилась Дуня, играла, да только не девичьей игрой – бабья уже нежность в ней созрела и выхода пролиться искала. Хоть на игрушку, пока дитя еще во чреве...

Дверная занавеска колыхнулась – заглянула Наталья Осиповна.

– Ушла государыня-то, – сообщила она. – Помолилась, Дунюшка? А то там ужинать собирают. Сегодня к столу рыба дозволена. На поварне кашки стряпали – судачиную, стерляжью и из севрюжины. Еще икру пряженую подадут, вязигу в уксусе, луковники и пироги подовые с маком. И киселей сладких наварили. А вот оладьи сахарные, Дунюшка, тебе бы сегодня есть не след...

– Что же так, матушка? – удивилась Дуня.

– Сахар-то, я слыхивала, на коровьих костях делан, скоромный, стало быть. И ты, Аленушка, тех оладий не ела бы. Не то скажут: екую дуру Лопухины с собой в Верх взяли – постного от скоромного не отличит...

Видя, что боярыня не гневается, застав Аленку в крестовой палате, девушка подошла к ней и приласкалась – поцеловала в плечико, прижалась к бочку.

– Ступай, ступай, светик, – отослала свою воспитанницу Наталья Осиповна. – А тебе, государыня, к столу наряжаться пора. Не так часто государь с тобой за стол садится – принарядись! – И, перекрестив доченьку, боярыня поплыла из крестовой прочь.

– Я первая пойду, а ты трижды «Отче наш» прочтешь – и за мной! – приказала Аленке Дуня. И поспешила к себе – наряжаться.

Аленка дождалась, пока шорох тафтяных летников стихнет в переходах, и тоже выбралась из крестовой. Вернулась в светлицу, а там уж суета: к вечеру все торопятся работу закончить, ведь с утра государь снова свое потешное войско школить собрался. Батюшки, а у Аленки рукав не шит!..

Словом, провозилась Аленка допоздна. В подклет прокралась, когда те девки, что спать собрались, уж засыпали, а те, что с полюбовниками уговорились, лежали тихонько, готовые живо подняться и выскользнуть. Не Верх, чай, а сельцо: дворец огородами окружен, каждый кустик ночевать пустит!

Легла Аленка на свой войлочек, отвернулась к стенке. И вроде даже задремала, когда вдруг раздались на дворе крики, да такие отчаянные, что в подклете, не разобравшись, заголосили:

– Ахти нам! Пожар!..

Здесь дворец – красы несказанной, но коли полыхнет сухое дерево – успеть бы выбежать! С визгом, с причитаниями кинулись мастерицы из подклета в одних сорочках. Поднялись, спотыкаясь, по лесенке, выскочили на высокое крыльцо – а по двору потешные с факелами носятся.

– Да где же кони?! – раздался пронзительный крик.

Не воды требуют – коней... Да что ж это деется-то?!

А Дунюшка-то младенчиком тяжела! А ну как с перепугу скинет?

Забыв про заведенные порядки, понеслась Аленка, как была, переходами в государынины покои. Только сарафанишко кое-как на бегу напялила поверх сорочки, а про повязку на голову, чтобы не выскакивать на люди простоволосой, и не подумала.

Навстречу ей бежали с огнем люди, и Аленка вжалась в бревенчатую стенку, пропуская их. Впереди – государь в одной белой рубахе (вот он каков, без кафтана-то... длинноногий, тощий, глаза выкачены, дороги не разбирает...), за ним – постельничий Гаврюшка Головкин с одежкой через плечо, карла Тимофей с пистолем и постельный истопник Лукашка Хабаров с саблей наголо... И – князь Борис Голицын, одетый так, словно и не ложился... Пронеслись, выскочили во двор, перебежали открытое место, сгнули во мраке...

Господи Иисусе, неужто Софья стрельцов на Коломенское двинула?!

И как бы в ответ – вой из царицыных хором.

Аленка понеслась туда – к Дунюшке!

Замешалась в сенях среди санных девок, перепуганных постельниц, бабок и мамок. Увидела Пелагею: та стояла, привалившись к стене, и лишь головой крутила вправо-влево, приоткрыв редкозубый рот.

– Пелагеюшка! – так и бросилась к ней Аленка. – Да что ж это дееся? Спаси и сохрани!

– Стрельцы по Стромьнке прискакали, свет! – отвечала карлица. – Кричали – на Москве набат гремит, полки сюда движутся!

– Бежать же надо! – без голоса прошептала Аленка.

– Государынь собирают! – карлица снова принялась вертеть головой. – Возников в колываги закладывают. Сейчас и двинутся в путь!

– А нас, мастериц?

– Ты, Аленушка, при мне держись, – велела Пелагея. – Я-то не пропаду, нас, карлов, николи не трогают!

– Я к Дуне! – вскрикнула Аленка, мало заботясь, так или не так назвала государыню всея Руси.

И побежала, маленькая да верткая, и проскочила в двери.

В покоях верховые боярыни сами укладывали короба и увязывали узлы. Все здесь смешались – и казначей Наталья Кирилловна, и казначей Дунюшка, и государева мамка, и мамка царевны Натальи... Женщины толклись, мешая друг другу.

Несколько в стороне, обняв дочку, стояла Наталья Кирилловна, как всегда – в темном наряде. Смотрела в пол, сдвинув красивые черные брови. Кусала губы. И молчала. Царевна Натальюшка испуганно жалась к ней.

Аленка огляделась – Дуни не было.

Тогда она вдоль стены прокралась в крестовую палату.

Дуня стояла на коленях перед образами и пылко вполголоса молилась, не по правилу путая слова и добавляя своих. Рядом, на коленях же, стояла ее сестрица Аксиньюшка и молчала – стиснув губы, глядя мимо образов.

– Господи, со мной что хочешь делай, хоть стрельцам отдай, хоть огнем пожги! Спаси Петрушеньку, Господи! Все обители обойду, Господи! – твердила Дуня.

Аленка кинулась на колени с ней рядом.

– И ты молись, и ты, светик! – воскликнула Дуня.

– Да, Дунюшка, да!..

– Мы его вымолим! Мы, только мы – понимаешь? Аленушка, ничего у него более нет – только молитовка наша!

– Да, Дунюшка, да... – ошалело повторяла Аленка. Отродясь она не видела таких глаз у подружки – обезумевших, огромных...

– Вымолим, выпросим, спасем! – позабыв о самой молитве, обещала Дуня истово. – Не настигнут его, не тронут его – а это мы, а это молитва наша... – Она повернулась к сестрице: – А ты что же?

Девочка молчала.

– Аксиньюшка, свет! – решив, что это с перепугу, подползла к ней на коленях Аленка.

– Дунюшка, что же это?! – отбиваясь от Аленки, воскликнула тут Аксинья. – Он – убежал, тебя с чревом бросил, а ты – молиться за него?!

– Государь же! Ему себя спасти надобно! – возразила Дуня, да так, что и спорить с ней было невозможно. – Государь же, Аксютка!

– И матушку свою бросил, и сестрицу Натальюшку! И всех нас! – упрямылась девочка. – Вот подымут нас стрельцы на копья – а он-то цел останется!

– Государь же! – в третий раз повторила Дуня. – Я бы и на копья – он бы уйти успел!..

Вдруг Аленка поняла: а девочка-то права. Возникло перед глазами лицо бегущего царя – черные глаза навывкате, застывший в немом крике рот. И в каждом движении, в каждом взмахе длинных рук – ужас!

– Пойдем к матушке, Аксиньюшка, – шепнула Аленка девочке. – Обеспамятела Дунюшка...

– Пойдем, – ответила Аксинья.

И видно было – не одобряет она старшую сестру. До того не одобряет, что и к молитве ее присоединиться не захотела. Строга была девочка – уж она-то за любезного мужа на копья не кинется.

Высунули носы Аленка с Аксиньюшкой из-за пыльного сукна, но выходить не стали – так и застряли меж занавесок. Потому что остались за это время в горнице три женщины – государыня Наталья Кирилловна, княгиня Волконская и царица Натальяюшка. Прибавился же один неожиданный посетитель – мужчина. Князь Борис Голицын.

Княгиня Домна Никитична с незапамятных времен в Верху служила, царице была предана. Что до Натальюшки – негоже, конечно, чтобы посторонний мужчина, не родственник, на царевнино лицо глядел, да в эту ночь, видать, не до правил всем было. Сообразив все это, Аленка поняла, что прочих женщин выслали ради тайного разговора, и удержала Аксинью при себе.

– Да все же, Борис Алексеич, – молвила государыня, – боязно мне что-то...

– Ты, матушка государыня, в шахматы игрывала? – спросил он.

– Да, покойный супруг забавы ради обучал.

– Видывала, как супротивнику три и более фигур отдают, а он, дурачок, берет? Вынуждают его поставить свои фигуры в неловкое положение, потом же ему стремительный удар наносят. Затянулась эта дурь, матушка. То Софья про тебя с Петрушей нелепое скажет – и вы в терему по целым дням ее слова обговариваете, то Петруша Софью не тем словечком обзовет – и ей доносят, и она по месяцу дуется...

– Устала я, князюшка, от пересудов, потому лишь тебя и послушала...

– А меж тем государство – как пьяный мужик в болоте: уже по самые ноздри ушел, вопить нечем, лишь пузыри пускает, – продолжал Голицын. – Мы-то ныне с шумом да гамом отступили, сейчас, с Божьей помощью, соберемся, к Троице все поедем и там укроемся, а Софье-то – объяснять всему миру, что не собиралась она посылать стрельцов брать приступом Преображенское. А чего ради тогда в Кремле сборы были? За каким бесом – прости, государыня, – ворота позапирали? Почему стрельцы набата ждали? Ах, подметное письмишко нашли?! Государыня, я ведь сам то письмишко сочинял да веселился! Сколько в Преображенском у тебя с государем людишек? И что – шесть сотен конюхов, истопников и постельничьих пойдут ночью в Кремль царя Ивана с сестрами губить? Блаженненький разве что какой поверит...

– Преображенское приступом брать... Господи, да чего его брать-то? Факел швырни – и запольхает, – покачала головой Наталья Кирилловна. – Однако не надо было Петрушу одного отпускать. С дороги бы не сбился...

– Далеко ли отсюда до Троице-Сергия? С ним трое, и уж один-то – надежен. Мельнов, тот стрелец, что с известием прискакал. Слыхала, чай? Не кричал – дурным голосом вопил: спасайся, мол, государь, в Кремле набат бьет, стрельцы на Стромынке рядами строятся! Вот голова – сам не ожидал... Пусть все ведают, в какой суматохе государь жизнь спасал... – Князь негромко рассмеялся.

– Стрелец?! Ты что же, князюшка, с ним государя отпустил?!

– Мельнов этот – мой человек, – успокоил царицу Голицын. – И послан от подполковника Елизарьева. Помяни мое слово, государыня: тот один из первых свои стрелецкие сотни к Троице приведет.

– Не разумею я что-то, Борис Алексеич...

– А чего тут разуметь? Из Троицы государь Петр Алексеич грамоту на Москву пошлет, чтобы все верные к нему собирались. Однажды Софья так-то Москву припугнула: мол, уйдет она отсюда с сестрицами к чужим королям милостыньки просить. Так Софьюшка-то лишь грозилась, а Петруша и в самом деле от беды неминуемой убежал. Ну-ка, и что Москва скажет, как думаешь?

– Ловок ты! Не в пример братцу...

Голицын вздохнул. Двоюродный брат Василий, советчик и любимец Софьин, Москве не по душе пришелся.

– Успокойся, государыня-матушка, – сказал он. – Тут не ловкость, а расчет. Семь лет назад стрельцы и пошли бы пеши в Преображенское тебя с чадом на копыа сажать, а за семь лет они Софьиным правлением по горло сыты. Покричать ради нее – милое дело, если она же еще и чарку поднесет. А с места сняться, мушкетик на плечо взвалить, ножками семь верст одолевать – пусть других дураков поищет... И она то ведает.

4

Итак, государь Петр Алексеевич, жизни которого якобы угрожали стрелецкие полки, идущие по Стромынке к Преображенскому, в сопровождении всего троих спутников бежал ночью к Троице – просить защиты у архимандрита Викентия. А за ним, со всем скарбом, мирно двинулись в колымагах Наталья Кирилловна с ближними женщинами, царевна Натальюшка, Дуня, карлицы и мастерицы. (Другой дорогой, лесной, постельный истопник Лука Хабаров, он же фатермистр Преображенского полка, повез к Троице-Сергию полковые пушки. И туда же маршевым шагом отправились шесть сотен более или менее обученных солдат.)

В Кремле, узнав про это странное бегство, сперва удивились. Потому что никто не соби-рался посылать в Преображенское стрельцов для убийства медведицы с медвежонком, то бишь Петра с матерью.

– Вольно ж ему, взбесясь, бегать! – сказали то ли Софья, то ли Шакловитый, а то ли оба (поскольку историки не сошлись, кому приписать фразу).

Однако столь диковинное событие, как и предвидел латинщик и выпивоха князь Голицын, породило брожение умов, и тут же каждый, от кого хоть что-то зависело, вынужден был сделать выбор – на чьей он стороне.

Петр засел в Троице-Сергиевом монастыре всерьез. И тут же туда потянулись далеко-видные. Возможно, первым был гонец от стрелецкого полковника Ивана Цыклера. Полковник сразу сообразил, что верх возьмет сделавший первый шаг Петр, и тайно просил вызвать его, Цыклера, к Троице: мол, откроет много нужного и тайного. За ним послали. И Софья его с пятью десятками стрельцов отпустила: не отказывать же венчанному на царство государю в пяти десятках стрельцов!

Генерал Гордон привел Сухарев полк. А 16 августа в стрелецкие и солдатские полки пришла от царя Петра грамота: он звал к Троице начальных людей и по десятку рядовых каждого полка. Софья запретила стрельцам подчиняться этому приказу, но по Москве незнамо кто пустил дурацкий слух, будто грамота прислана без ведома Петра – токмо злоумышлением Бориски Голицына. И вместо того чтобы успокоить войско, такая новость его, войско, насторожила – уж больно показалась нелепа. Осознав, что с Софьей ему более не по пути, бежал к Троице патриарх Иоаким. И, прежде всех прочих иностранцев, прибыл к Троице Франц Лефорт.

Все развивалось согласно замыслу.

27 августа 1689 года в стрелецкие полки пришла новая государева грамота – и стрельцы, повинувшись цареву указу, тоже потихоньку двинулись по Стромынке к Троице.

Оставалось сделать немного – взяв в руки подлинную власть, загнать в угол правитель-ницу Софью с ее избранниками.

Тут Борис Голицын, муж ума государственного, сглупил. Не следовало ему в этой кутерьме пытаться спасти двоюродного брата, Василия Голицына. Даже ради чести голицын-ского рода. Он же вступил с братцем в переписку, призывая его к Троице, но Василий Васи-льевич не мог бросить Софью и до последнего хлопотал о примирении сторон.

Что же из этого вышло? Да только то, что Нарышкины озлились на Бориса: дескать, род-ственника пытался выгородить. Посему как только Софья оказалась в Новодевичьем мона-стыре, Василий Голицын – в ссылке, а Федор Шакловитый был казнен, как только приступили к дележке высвободившихся званий и чинов, князя Бориса Алексеича Голицына Нарышкины от дел и отстранили. Дали ему заведовать приказом Казанского дворца, и, махнув отныне на дела государственные рукой, латинщик продолжал читать мудрые книги и напиваться в государевом обществе (против чего никто не возражал).

Наталья Кирилловна уж так была рада, что Голицыных избыла, что не возражала против совместных увеселений сына с его родным дядюшкой, своим младшим братом Львом Кирил-

ловичем. Пусть хоть пьет, хоть гуляет, да со своими. Но молодой дядюшка любимцем государевым не стал – а стал иноземец Франц Яковлевич Лефорг. Видно, он-то и заманил Петра в Немецкую слободу.

И настали мирные времена.

Правил, разумеется, не Петр – у него на то и времени не оставалось.

Чем же Петр занимался? А фейерверки устраивал. Попалась ему книжка про фейерверки, вот он и увлекся огненной потехой.

Еще полки свои школил. Теперь, когда не приходилось за каждой мелочью в Оружейную палату посылать, он мог ими основательней заняться.

Еще учился. Благо всем ведомо – жажда познания в Петре сидела необыкновенная.

Еще в Немецкую слободу то и дело ездил. В новом дворце Лефорга дневал и ночевал. Веселился напропалую, коли нужда в нем возникнет – в Кремль не дозовешься.

Еще яхту сам себе построил.

Ну а чем, если вдуматься, должен заниматься государь, для которого престол от Софьи освободили, когда ему семнадцать лет и три месяца исполнилось? Править государством в восемнадцать?

Так что Петр поступил по-своему разумно – предоставил все дела Нарышкиным.

Дуня меж тем исправно рожала ему сыновей. Сыновей! Не то что царица Прасковья – государю Ивану (а может, и Ваське Юшкову).

Первенца своего, Алешеньку, Дуня родила 28 февраля 1690 года. Царевич Александр родился в ноябре 1691 года, но пожил недолго – в мае 1692 года умер. Царевич Павел родился в ноябре 1692 года, однако летом 1693 года тоже умер. Алешенька же хоть и хворал, но рос, окруженный заботой. Наследник!

Петр видел его редко – ему других радостей хватало. На Плещеевом озере стало Петру тесно – хотелось простору, хотелось, чтобы паруса, ветром наполненные, до небес над крутобокими кораблями громоздились, хотелось, чтобы широким строем те корабли шли да шли, шли да шли...

Ничего ближе Белого моря Петр найти не смог, и посему 4 июля 1693 года отправился с немалой свитой в Архангельск.

5

– Что же известица-то нет да нет? – сердито спросила боярыня Наталья Осиповна. – Должно, ты плохо государю писала, коли не отвечает.

– Так и государыню Наталью Кирилловну не известил... – ответила Дунюшка, опустив голову.

Аленка, слышавшая их беседу из потаенного уголка, так глянула исподлобья на боярыню Лопухину – насквозь бы старую дуру прожгла! И ее, и всех Лопухиных до единого, включая братца Аврашку-дурака.

Только Аленка и сострадает, только она и видит, что Дунюшка – аки свечка, которую с двух концов жгут. С одной стороны – государыня Наталья Кирилловна с ближними женщинами (что государю Петру Алексеичу не угодила, потому-де и бегают от нее прочь), с другой – родня, Лопухины винят, что не сумела мужа привязать и удержать, и оттого-де на них на всех Наталья Кирилловна уж косится. Когда наконец правительницу Софью одолели и в келью заперли, когда наконец лопухинский род вздохнул спокойно, обогрел руки у царской милости и только стал разживаться – вдруг такая неурядица!

Теперь вот и вовсе отправился на все лето государь в Архангельск. В начале июля выехал, давно уж вернуться обещал и едет ведь уже в Москву, да все никак не доедет. А завтра-то уж первое октября число...

Да писано ему писем, писано! Только Дунюшку-то зачем корить, ежели ей отец Карион Истомин письма составлять помогает? Вот с него и спрос!

А тут еще обида за обидой... Когда Алексашеньку хоронили, родной отец и на отпеванье не пришел. Зато в ту же тяжкую пору Аврашка-дурак с великой радостью заявился: потому, мол, государь к жене охладел, что у него в Немецкой слободе зазноба завелась. И выбрала же, змея подколодная, времечко, чтобы на блудное дело его увлечь!

Лопухины же от Аврашкиной новости и вовсе ошалели: видано ли, чтобы государь с немкой блудил? Посему приступили к родственнику со всей строгостью: коли таскался за государем в Немецкую слободу, почто раньше про ту Анну-змеюку не сказал? Видел же!

Аврашка хныкал: да кабы у государя то единственная зазноба в слободе была! Он же прежде того с подружкой Анны столкнулся, дочкой купца Фаденрейха, и с дочкой серебряных дел мастера Беттихера. А что до Анны – так всем же ведомо, что с ней Франц Яковлевич Лефорт живет, хотя у него и венчанная жена имеется. Но он Анну государю уступил, полагая, видно, что ненадолго. А потом, месяц за месяцем, стало ясно, что змея Анна исхитрилась государя присушить.

Слободские нравы повергли Лопухиных в изумленье.

– Турки, прости господи! – сказал, крестясь, Федор Аврамыч, уже позабывший, что был когда-то Ларионом.

– Бусурманы!

– Испортили государя!..

Дико им было, но раз Петр Алексеич не виноват (когда же мужик в таком деле бывает виноват?), то, стало быть, виновата Дуня! Да и по вере так положено: коли жена – любодееца, можно ее покарать и с мужем развести, а коли муж блудлив – жене от него не освободиться ни за что (сама, мол, виновата, что не удержала). Тем более что Аврашка с перепугу наговорил на немецких девок всяких мерзостей: мол, и тощи, и бесстыжи, и рожи пятнисты, и зубы гнилы, и руки ледяны... Дядья приступили к заврашшемуся племянничку: отколе сие тебе, сопливному, ведомо? Уж не сам ли оскоромился?! Нет, сослался Аврашка на государеву свиту во главе с князем Голицыным и государевым дядюшкой Львом Кириллычем. Лопухины

зачесали в затылках: куда же государыня глядит, коли сын с братом вместе к зазорным девкам ездят? Но не идти же к ней с таким непотребным вопросом...

А Дуня – слушай да терпи, да реви в подушку!

Да прежняя ли то Дуня, пышная, статная, веселая? От слез и румянца не стало. Жалко Аленке глядеть на нее, у самой слезки на глаза наворачиваются. В обитель уж и не просится – на кого подружку оставить? Только и утехи Дуне – тайно впустить к себе Аленку, сесть вместе на лавочку, выговориться, девичье время вспомнить.

Но как ни таилась сейчас в уголке – углядела-таки ее Наталья Осиповна.

– А ты, девка, что тут засиделась? Ступай, ступай к себе в подклет! Сейчас ближние боярыни и постельницы придут государыню к царевичу сопроводить!..

Вот и пришлось уйти.

Другой день в работе прошел, а вечером в подклете новость сказали – государь уж в Преображенском! Шесть верст до Кремля осталось, но он там ночевать остался. Государыне Наталье Кирилловне грамотку прислал, прощенья просил. А жене-то не прислал...

Вздохнула Аленка. Помолясь, легла, а сон нейдет. Хоть бы истосковался Петр Алексеич по брачному таинству! Хоть бы позабыл немецкую змею Анну!..

А утром в Светлицу государыня Наталья Кирилловна пожаловала – глядеть, как начатую ею пелену к образу Богородицы девки дошивают. С нею же – Марфа Федоровна, что за покойным государем Федором была, и Дунюшка. А при каждой государыне – боярыни ее верховые и казначеи с карлицами, а при Наталье Кирилловне – еще и дочь, царевна Наталья Алексеевна, с мамкой, наставницей и боярышнями. Хорошо хоть, что не скопом к рабочему столу кинулись: встали чинно вдоль стен, карлиц и малолетних боярышень с собой придержали.

Первой государыня Наталья Кирилловна к мастерицам подошла. Многих поименно знает, ласково обращается. Начала с того края, где старушки сидели – Катерина Темирева и Татьяна Перепечина, обе чуть ли не по пятьдесят годков в Светлице. И Аленка к ним поближе пристроилась – мастерству учиться.

Спросила государыня старушек, здоровы ли, глазыньки не подводят ли. Темирева, старуха грузная, прослезилась от умиления да и забыла, о чем сказать хотела. А Перепечина вспомнила (не зря же Аленка к ней два года ластилась, секреты перенимала).

– Дозволь словечко замолвить, – сказала, кланяясь в пояс, Перепечина. – Вот девка, шить выучилась добре, пожалуй ее, государыня, в тридцатницы!

Аленка, вскочив, окаменела с иголкой в одной руке и жемчужинкой – в другой.

– Молода больно, – отвечала царица.

– Молода, да шустра. Матушка государыня, она того стоит!

– Довольно того, что в девки верховые взяли, – отрубилла Наталья Кирилловна. – Пора придет – жениха ей присмотрю и приданое дам. А в тридцатницы – это заслужить надо. И разве помер кто из мастериц, что место освободилось?

– Государыня матушка, мы-то, старые тридцатницы, дряхлеем, нам в обитель пора. А Аленка-то уж не больно и молода – двадцать третий годок пошел...

– Что ж так мала? Плохо кормят, что ли?

– Она, государыня-матушка, по три деньки кормовых получает всего. Мовница грязная, что половики стирает, и то по шесть денег в день имеет!

– По три деньки? – Наталья Кирилловна взяла со стола Аленкино шитье, поднесла к глазам.

Подошла к матери царевна Наталья Алексеевна, тоже взглянуть захотела.

Аленка, временно работы лишенная, стояла, склонив голову, так что при ее малом они лишь макушку Аленкину и видели.

– Татьяна Ивановна, поди-ка сюда! – позвала царица боярыню Фустову, бывшую свою казначею, у коей сохранилась отменная память на все, с деньгами связанное.

Та плавно подошла.

– Что прикажешь, государыня?

– Вели Петру Тимофеичу давать сей девке по пять денег кормовых, но в старшие мастерицы пока не переводить. В тридцатницы хочешь, девка? Потерпи. Я старых своих мастериц ради тебя звания лишать не стану. Вот прикажет кто из них долго жить, останется двадцать и девять наилучших – тогда лишь тридцатой станешь.

Аленка низко поклонилась. Все же то была царская милость.

Царицы обошли весь длинный стол. Первой – Наталья Кирилловна, последней – самая младшая, Дуня.

– Приходи ночью в крестовую, – шепнула Дунюшка.

Аленка, уже успевшая сесть, не ответила – еще старательней над шитьем склонилась.

Подошла, нарочно приотстав, и Наталья Осиповна.

– Приходи, Аленушка, попозже, – добавила она.

Это было уж вовсе неожиданно.

Поразмыслив, Аленка решила первым делом боярыню навестить. Коли ее рассердить – не будет и коротких встреч с Дунюшкой.

...Пришла Аленка ввечеру, как велено было, да так и не смогла понять, чего от нее боярыня желает. Мялась лишь да охала Наталья Осиповна.

– Ох, не так-то я тебя растила, да не тому-то я тебя учила... – только и повторяла: – Голубушка ты моя, Аленушка, как же с Дуней-то быть?..

И видно было, что нужно ей о чем-то попросить Аленку, но не могла она, бедная, никак не решалась. Одного лишь Аленка добилась – помогла ей Наталья Осиповна в крестовую проскользнуть.

Горели там три лампадки и стояла на коленях государыня вся Русь – мужем ради немки покинутая.

– Плохо мне, Аленушка... – прошептала Дуня. – Куда ни глянь – всюду они, Нарышкины проклятые! Ты думаешь, для чего медведица к моему Алешеньке Параню Нарышкину поставила? Чтобы та меня выслеживала! Она и спит возле кровати Алешенькиной, и бережет его, а я же вижу – от меня она его бережет!

– Параню Бог уж наказал, – шепотом же отвечала Аленка. – С мужем-то, почитай, и не жила, его совсем молодым стрелыцы насмерть забили.

– Да пусть бы всю нарышкинскую породу стрелыцы бы забили! – сгоряча пожелала Дуня.

– Да что ты такое, Дунюшка, говоришь? – изумилась Аленка.

– Ох, Господи, прости меня, неразумную! – На словах Дуня, может, и опомнилась, однако злость в ней кипела. – А дядюшку нашего, Льва Кириллыча, взять? Моего лапушку Петрушу вовсе с пути сбил! Чтобы дядя племянника к зазорным девкам важивал?!

– И кто ж напел-то?

– Да уж поведали... – (Аленка сообразила: опять братец Аврашка потрудился.) – Аленушка, ведь мне и помиловаться с Алешенькой не дают! – Дуня торопилась высказать все, что наболело. – Она, Паранька проклятая, лучше моего знает, что сыночку нужно! Она – не я!.. – Тут Дуня не выдержала – зарыдала, сама себе рот зажимая, чтобы весь терем не переполошить.

Аленка бросилась к ней, обняла, спрятала лицо подруженькино на груди.

Четыре года прошло с того дня, как женила медведица своего сына на красавице Дуне Лопухиной. И немногим поболее трех – с той ночи, когда хитростью Бориски Голицына медведица Софью одолела. Дунюшка полночи тогда на коленях под образами простояла и гордилась потом, что по ее молитве вышло: не пострадал Петруша, а возвысился и ее с собой возвысил. И словно была у нее чаша, вроде тех больших серебряных в позолоте, что государи в награждение жалуют, и чаяла Дунюшка, что сию полную счастья и радости чашу Господь ей

одной целиком предназначил, но коснулась губами края – и нерасчетливо осушила до дна всю ту чашу. И не стало более в жизни радости. Всю ее испила за полтора года...

Рыдала бедная Дуня самозабвенно, и так уж Аленке было ее жаль – прямо сама бы взяла пистоль и постреляла всех немцев в слободе. А заодно и Параню Нарышкину, и дядюшку Льва Кириллыча, и медведицу...

Однако не в них на сей раз дело было. Хотя и проста была Аленка в бабьих делах, но уразумела: это Дуня сейчас на всех на них ту злость срывает и обиду вымещает, которую по-настоящему высказать не может – стыдится. Не Параню – Анну Монсову клянёт она сейчас.

Но ничего уже, кроме всхлипов, от Дуни не добиться... Хорошо, Наталья Осиповна заглянула – и ахнула, и кинулась к доченьке! Передала ей Аленка Дуню, а сама помедлила уходить – с обидой глянула на темные образа и прошептала:

– Спаси и сохрани!..

Высвободилась Дунюшка из материнского объятия и опять кинулась к Аленке:

– Подруженька моя единая, Аленушка, светик мой золотой! – зашептала она, жалкая и зареванная. – Горлинка ты моя, птенчик ты мой беззлобливый! Ты собинная моя, помнишь, как у матушки нам радостно жилось? Я тебя никому ведь в обиду не давала...

– Не давала, Дунюшка, – закивала, трясая короткой косой, Аленка.

– Так-то, господи, так-то, как родная жила... – не выдержав воспоминания о собственной доброте, заплакала и Наталья Осиповна. А чтобы ловчее было плакать, на скамью у стены села.

– Так и ты уж не выдай меня, заставь век за себя Богу молиться! Выручай меня, подруженька, не то – пропаду...

– Я все для тебя, Дунюшка, сделаю! Говори – чего нужно.

– Аленушка, помнишь, как Стешка долговязая жениха у Наташки отсушила?

– Да уж как не помнить, – отвечала Аленка. – Стешке-то, дуре, сильно тогда досталось, Кулачиха ей половину косы выдрала. Хорошо, Ларион Аврамыч не стал сора из избы выносить...

– Федор Аврамыч, – поправила Дуня. – Хотя и сама никак не привыкну...

– А мне-то какво? – встряла боярыня Лопухина. И то – тяжело под старость лет мужнино имя переучивать...

– Аленушка, подруженька, все для тебя сделаю! – не попросив толком, но полагая, что Аленка поняла ее, воскликнула Дуня. – Если снимут с Петруши порчу, если вернется, если по-прежнему меж нас любовь будет – чего ни попросишь, все дам! Хочешь – жениха тебе богатого посватаю, хочешь – в обитель с богатым вкладом отпущу! Или псаломщицей к себе возьму, чтобы не расставаться...

– А ведь ты меня на грех наводишь, Дуня... – прошептала Аленка.

– Ох, не так я тебя растила, не тому учила... – вовсе уж некстати подала голос боярыня.

– Я твой грех замолю! – радостно пообещала Дунюшка. – Наши царские грехи есть кому прощать! Во всех церквах московских, во всех монастырях о тебе молиться станут! Вклады сделаю, в богомольный поход подымусь – всюду сама о тебе помолюсь, Аленушка! Не то – пропаду! Государыня Наталья Кирилловна со свету сживет... Да пусть бы бранилась! Любил бы муж – так и свекровина брань на вороту не виснет... Но его-то она, чай, не винит! А чем я ему, Аленушка, не угодила, чем? Ведь любил же, любил меня! Сидел напротив, за руки держал... Его испортили, вот те крест – испортили немцы проклятые! А порчу снять – это дело богоугодное!

– Тише, Дунюшка, тише! – взмолилась Аленка.

Но по лицу подружьиному решила Дунюшка, что более и уговаривать ее незачем.

– Мы с матушкой все придумали! Сами-то не можем, смотрят за нами строго. А ты отпросись у светличной боярыни на богомолье, – начала она учить, – а как выйдешь из Кремля – найди ворожейку, пусть снимет порчу с Петрушеньки!

– Боязно, Дуня...

– Ох, губите вы все меня! – вскрикнула подружка. – На тебя вся надежда и была!. Аленушка, неужто и ты отступилась?

– Поди, поди ко мне, Дунюшка! – позвала Наталья Осиповна, и когда дочь опустилась возле лавки на колени, принялась гладить ее по плечам, нашептывать горькие в ласковости своей словечки.

Аленка стояла, опустив руки. Страшно ей было: греха-то кто не боится? А пуще страха – жалость сердце разрывала.

Первой собралась с духом Наталья Осиповна:

– Аленушка! – поманила она, не поднимаясь со скамьи, девушку, и когда та шагнула к ней, обняла ее, прижала к себе как родную. – Мы тебя вырастили, вскормили, ты нам разве чужая была? Нам тебя Бог послал – мы бы тебя и замуж отдали, кабы ты пожелала, и в монастырь отпустим с хорошим вкладом... Только помоги, Аленушка! Видишь же – гибнет моя Дуня!

– Вижу, – отвечала Аленка.

– Возьми грех на душу, девонька, – продолжала Наталья Осиповна. – Пусть только все наладится – а уж я тебя отмолю! Пешком по монастырям пойду! Видит Бог – пойду!

Дуня, стоя на коленях с другой стороны, горько плакала.

– Матушка Наталья Осиповна, я на все готова, – решительно сказала Аленка.

– Готова? Ну так слушай, Аленушка. Я узнавала: у немцев русские девки наняты – для домашнего дела, за скотиной смотреть... Вместе с ними в ту слободу и попадешь. Они тебе и дом Анны Монсовой укажут. Но перед тем расспроси у стрельчих про Степаниду, прозванием – Рязанка. На Москве она ведунья не из последних, я не раз о ней слыхала. Пойдешь к той Степаниде, в ножки поклонись, чтобы сделала государю отворот от той бесовской Анны. Самый что ни на есть сильный! Алена, мой грех! Я – замолю! Слышишь? Мой!..

Бессильна и грозна, грозна и бессильна была боярыня, как всякая мать брошенной дочери. И жалко было Аленке смотреть на полное, мокрое от слез лицо.

– Аленушка! – Дуня испуганно подняла на нее огромные наплаканные глаза. – Гляди, Петруше бы худа не сделать!

– Какого такого худа? – резко повернулась к ней Наталья Осиповна. – Чтоб на баб яриться перестал? Так и пусть бы, пусть, авось поумнел бы! Коли он в слободу ездить перестанет, то государыня ко всем к нам ласкова станет, а потом поглядим... – Видно, долго мучилась боярыня, прежде чем приняла решение, но теперь уж к ней стало не подступиться. Не была она обильна разумом, однако и не могла позволить, чтобы доченьку понапрасну обижали. – Эх, Дуня, Дуня, знали бы мы, за кого тебя отдаем!.. Видно, правду говорят – кто во грехе рожден, тому от того греха и помереть!

– Да про что ты, матушка?!

– У государя Алексея все семя гнилое вышло! – уже без всякого береженья прошипела Наталья Осиповна. – Одни девки удались, а сыны? Кто из сынов до своего потомства дожил? Алексей отроком помер, Дмитрий и Семен – вовсе младенцами несмышленими, Федор – двадцать годочков только и прожил! Что, скажешь, не гнилое семя?

– А государь Иван? – возразила Дуня. – Вон, Прасковьюшка-то ему рождает...

– Государю Ивану? Или постельничьему ихнему – Ваське Юшкову? Весь Терем о том ведает: государь Иван главой скорбен – его и дитя малое вокруг пальца обведет, не то что хитрая баба! Это все Сонька затеяла, только ждала она от Васьки Юшкова, чтобы сыночка Прасковье дал, а та сперва Машку родила, через год – Федоську, через год – Катьку, потом Анютку! И далее будет девок рождать, попомни мое слово, такое уж у того Васьки семя. Неплодны у государя Алексея сыны!

– Это у Милославских кровь гнилая, – вступилась за своего Петрушу Дуня. – А как женился государь на Наталье Кирилловне – и родила она ему здоровенького...

– Ему?! Да что ж ты, Дунька, четыре года в Верху живешь, а до правды не добралась? Не сын твой муженек государю Алексею! А чей сын – это ты у свекровищи своей спроси, у медведицы! Она, может, и ведает! – (Аленка вскинула глаза: не впервой уже слышала непотребные разговоры про подлинного отца государя Петра.) – Не иначе, от конюха он или от псаря! Только с ними и водится!

Стоявшая на коленях Дуня вдруг выпрямилась, глянула матери в лицо.

– Ты что такое говоришь?! – прошипела она. – Ты про государя такое говоришь?! Ты мужа моего бесчестишь?

Растерялась Наталья Осиповна. Рот раскрыла.

И то – дочка-то ей Дуня дочка, но – царица при этом. Известно, что бывает, когда царице перчат... Протянула боярыня полные белые руки:

– Да сам себя он бесчестит, Дунюшка... Доченька...

И снова мать с дочерью друг к дружке приникли.

Дивно было Аленке: надо же, с каким пылом Дуня за Петрушу своего вступилась – ажно на родную мать прикрикнула.

Притихли боярыня с царицей, но ненадолго.

– Ну что же, – вздохнула Наталья Осиповна, – как ни крути, а надо от него ту змею подколенную отваживать. Только, Дунюшка, не с пустыми же руками Аленке к ворожее идти...

Дуня, встрепенувшись, засунула руку глубоко под лавку, достала высокий ларец-теремок и поставила его между собой и Аленкой.

– Тут у нас то скрыто, о чем никто не ведает, – призналась боярыня. – Из дому привезла, да и припрятала: мало ли кому придется тайные подарки делать... Кулачиха научила. Вот и пригодилось...

Подруженька, занявшись делом, малость успокоилась. Порывшись в ларце, выставила на полавочник две широкие невысокие серебряные чарки и серебряную же коробочку.

– Вещицы небогатые, да нарядные, – сказала она. – Как раз ворожейке сойдут.

Аленка залюбовалась тонкой работой. Чарочки стояли каждая на трех шариках, махонькие – с Аленкину горсточку. Были они снаружи и изнутри украшены сканым узором, в завитки которого была залита цветная эмаль – яхонтовая и бирюзовая, а горошинки белой эмали, словно жемчужная обнизь, обрамляли венчики чарок, стенки и крышку коробочки. Она взяла чарку за узорную плоскую ручку и поднесла к губам.

– Держать неловко как-то, – заметила девушка.

– Если кто непременно выпить захочет, так и ловко, – возразила Дуня. – Просто ты у нас, как черничка безгрешная, и наливочки в рот не берешь.

Аленка покраснела – вот как раз от сладкой наливочки и не было сил отказаться.

– Бери и спрячь поскорее, – велела Наталья Осиповна. – Незнамо, сможем ли еще поговорить так-то – тайно... Конечно, лучше бы денег дать, да только денег у нас и нет: что надо – нам без денег приносят. Такое-то оно – житье царское...

И унесла Аленка те чарки в коробочке, и припрятала их в том же надежном месте, где птичку-игрушку для Дунюшки прятала.

Тем временем государь Петр Алексеич побывал в Верху – да и улетел. Снова побывал – и снова улетел. Мастерицы лишь перешептываются: совсем-де у него Авдотья Федоровна в опале...

Аленка же их шепотки слышит – только зубы крепче сжимает. И в Успенский собор молиться бегаёт: образ там приглядела – Спас Златые Власы. Глянулся он ей чем-то... Уж как приметила его среди великого множества образов – одному Спасу, пожалуй, и ведомо, однако в Успенский собор зачастила теперь Аленка, как невеста к жениху. И то: раз уж пред-

стоит за убиенного пойти, то желалось, чтобы он хоть с виду был таков же, как Спас Златые Власы. Именно таков, потому что другие образа почтение вызывают, а этот побуждает все скорби свои ему доверить. Ибо был воистину защитником, воином Господним.

Но не расслышал Спас Златые Власы то, что Аленка, стыдясь, не молитвенными, а своими словечками бормотала. Не отвадил зазорную девку Анну Монсову от государя.

И тогда вызвала Аленка тайно Пелагейку – пусть своим сильненьким словам научит! Поверила в Пелагейкины рассказы, когда выяснила, что карлица и впрямь то одного, то другого в любовники берет. Осенью и зимой часто у Натальи Кирилловны в гости отпрашивается (вроде как у нее родни на Москве полно), а уж летом, когда верховые девки и бабы живут с государынями в подмосковных, и вовсе совесть теряет – чуть ли не на всю ночь уходит.

Условились в переходе меж теремами встретиться, когда все заснут.

Аленка из подклета на цыпочках выбралась, при каждом шорохе каменья, но поспешила – прибежала раньше карлицы. Ждала потом в полной тьме и дрожала.

Вдруг рядом что-то шлепнулось и крикнуло от боли.

– Ахти мне! – прошептала Аленка. – Иисусе Христе, наше место свято!

– Господь с тобой, девка, я это – Пелагея...

На ощупь добралась Аленка до карлицы, помогла встать.

– Чтоб те ни дна ни покрывки! – ругнула Пелагейка незнамо кого. – Масла, что ль, пролили? Нога подскользнулась, подвернулась, так и поехала...

– Растереть тебе ножку, Пелагеюшка?

– Ангельская твоя душенька! – умилилась карлица. – Пройдет, светик, все пройдет. Ну а теперь говори, для чего вызвала...

– Ох, Пелагеюшка... – Стыдно Аленке сделалось, но продолжила-таки: – Помнишь, ты сильным словам обещала меня выучить?

– Так много их, сильных слов-то! А на что тебе?

Кабы не мрак, кинулась бы Аленка прочь – такой жар в щеках вспыхнул. Но удержалась.

– На отсушку... – прошептала она еле слышно.

– Неужто зазноба завелась? Ох, девка, а кто же, кто?

– Ох, Пелагеюшка! Ты научи, потом скажу – кто...

– Стыдишься? Это, свет, хорошо, – вдруг одобрила карлица. – Одна ты тут такая чистая душенька. Кабы другой девке – ни в жисть бы не сказала, а тебе скажу. Охота уж мне больно на твоей свадьбе поплясать. Ты не гляди, что ножки коротеньки, – так спляшу, что иная долговязая за мной не угонится! Позовешь на свадьбу-то?

Аленка не знала, что и соврать. Замолчала, потупилась.

Наконец Пелагейка сжалась над ней:

– Но ты, девка, знай: слова те – бесовские. Да не бойся! Согрешишь – да и покаешься. Беса-то не навеки ведь призываешь, а на разок только. Я вон всегда на исповеди каюсь, и ни разу не было, чтоб батюшка моего греха не отпустил. Дурой назовет, сорок поклонов и десять дней сухоядения прикажет – ну и опять безгрешна!

– Сорок поклонов и десять дней? – не поверила Аленка. – Что ж так мало?

– Разумный потому что отец Афанасий, – терпеливо объяснила Пелагейка. – Понимает, что по бабьей глупости ненужные слова говорю... Ну так слушай! Прежде всего – бес креста не любит. Посему, когда заговор будешь читать, крест загодяними.

– Без креста?! – Аленке сделалось страшно.

– Велика важность – сняла да надела! Зато слова сильные. Мне их сама Степанида Рязанка дала. Ворожея она известная, к ней даже боярыни девок за зельями посылают. Ну да бог с ней, мне спешить надобно. Ну-ка, запоминай... – Пелагейка помолчала, как бы собираясь с силами, и потом заговорила с таким придыханием, что почудилось оно перепуганной

Аленке змеиным шипом: – Встану не благословясь, выйду не перекрестясь, из избы не дверьми, из двора не воротами, а дымным окном да подвальным бревном...

– Господи Иисусе, спаси и сохрани! – не удержалась Аленка.

– Да тихо ты... Услышат!.. Ну, повторяй.

– Не могу.

– А не можешь – так и разговора нет. Коли душа не велит – так и не надо, – отступилась враз Пелагейка. – Ну, думай, учить ли?

Аленка вздохнула. Дунюшка несчастная и не такие бы слова заучила, чтобы Анну Монсову от Петруши отвадить. Да и в Писании велено положить душу свою за други своя...

– Учи.

– ...Выйду на широку улицу, спущусь под круту гору, возьму от двух гор земельки. Как гора с горой не сходится, гора с горой не сдвигается, так же бы раб Божий... Как его величают-то?

И не пришло от волнения на ум Аленке ни одного имени христианского, чтобы соврать. Тяжкую мороку возложила на нее Дунюшка – кто ж думал, что еще и врать придется?

– Ну ладно. Так же бы раб Божий Иван с рабой Божьей... ну хоть Феклой... не сходился, не сдвигался. Гора на гору глядит, ничего не говорит, так же бы раб Божий Иван с рабой Божьей Феклой ничего бы не говорил. Чур от девки, от простоволоски, от женки от белоголовки, чур от старого старика, чур от еретиков, чур от еретич, чур от ящер-ящериц!

Подлинная ярость была в голосе карлицы, когда она запрещала Ивану с Феклой друг с другом сдвигаться. Подивилась Аленка, но первым делом спросила:

– И можно крест надевать?

– погоди ты с крестом! Перво-наперво запомни – ночью слова для отсушки говорят! И не в горнице, а на перекрестке! Нечистая-то сила лишь по ночам на перекрестках хозяйничает, а днем люди ходят – кто в одну сторону, кто в другую, и крест на землю следами кладут. А ночью там пусто.

– Как же я на перекресток попаду? – растерялась Аленка. – Ну, кабы в Коломенском – там можно выскочить незаметно. А Кремль-то ночью сторожевых стрельцов полон...

– А ты ночью в верховой сад поберись! – подсказала Пелагейка.

– И верно...

Верховых садов в Кремле было два: один – под окнами покоев царевен, другой – под годовновскими палатами (теми самыми, из которых Гришка Отрепьев выкинулся). И можно было туда ночью пробраться, ибо время нечаянно выдалось подходящее: садовники сады к зиме готовили и трудились по ночам, оставляя двери открытыми. Пелагейка и тут надоумила – как пробраться да где укрыться.

И взяла Аленка грех на душу – темной октябрьской ночью, сняв крест, прочитала, как могла, сильные слова.

И не разверзлось небо, и гром не ударил в грешницу.

Надев поскорее крест, поспешила девушка в подклет, радуясь, что коли не сегодня – так завтра примчится государь к Дуне и будет у них любовь по-прежнему.

Два дня воображала Аленка, как пойдет отдавать серебряные чарки боярыне Наталье Осиповне, а та примет ее радостная, и весь Верх дивиться будет, с чего это государево сердце вновь к Дуне повернулось. На третий же день стало ведомо – живет государь по-прежнему у немца Лефорта, и тот в его честь готовит большой пир, и на том пиру будет и Анна Монсова. Присылал сказать, чтоб не ждали...

Вот те и отсушка...

Пелагейки, на беду, в Верху не случилось – и пожаловаться некому.

Зря, значит, грех на душу взят.

И едва ли не впервые в жизни задумалась Аленка о грехах. Раньше – просто знала, за что бабушка на исповеди отругает, а чему значения не придаст. Был у Аленки список грехов, о которых она точно знала – нельзя, не то в аду гореть будешь. Воровать нельзя, блудодействовать, сотворять кумира (хоть и неясно, как это делается), в пост скоромное есть, богохульничать, унынию предаваться...

А мужа вернуть к его венчанной жене – грех? Змею-разлучницу, немку поганую, от православного государя отвадить – грех?

Некстати и упрямство в Аленке обнаружилось. Раньше-то незачем было упрямиться – коли ни с первой, так со второй или третьей просьбы отпускала ее Наталья Осиповна в Моисеевскую обитель, а другого она и не домогалась.

И вот мысли о грехах, упрямство и стыд в глаза Дуни и боярыне Лопухиной глядеть сподобили-таки Аленку отважиться и без спросу из Кремля уйти. Тем паче днем это нетрудно: Кремль полон людей, на площадях торг идет, в церквах – службы. Вышла Аленка как бы в Успенский собор помолиться, благо все мастерицы знали, что она туда ходит, и – ходу!

Решила девушка так: побывав у Степаниды Рязанки, отправится в лопухинскую усадьбу, и пусть Кулачиха ее там спрячет, а сама исхитрится весть боярыне подать. Когда же у Дуни с государем все наладится, уж придумает она, как Аленку в Светлицу вернуть, а нет – отпустит наконец в обитель.

Москвы Аленка не знала, потому и оказалась возле дома Степаниды Рязанки, уж когда стемнело.

Нужный домишко, как Аленке и растолковали, стоял на отшибе, на краю слободы. Невзирая на поздний час, сквозь плотные занавески теплился слабый свет. На улице – ни души.

Аленка подкралась, затаилась под окошком. Там, в доме, были двое, но о чем говорили – не разобрать. Вспыхнуло вдруг за плотной занавеской светлое пятно, подержалось недолго, колеблясь, да и растаяло. Аленке сделалось страшно. Она перекрестилась и прочитала «Отче наш».

Наконец дверь отворилась, на порог вышла женщина с ребенком на руках.

– Уж я тебя отблагодарю, Степанида Никитишна, – сказала она, обернувшись. – Век за тебя молиться буду.

– Отблагодаришь... Завтра в остатний раз прийти не забудь, – грубовато ответили из глубины сеней. – Беги уж, господь с тобой...

Молодая мать перехватила дитя поудобнее, сошла с крыльца и заспешила прочь.

Пока дверь не затворилась, Аленка взбежала и встала на ступеньке.

– Впусти, бога ради! – попросила она.

– А ты кто такова? – ответили из темных сеней.

– Аленой зовут.

– Ален на Москве немерено.

Аленка опустила голову. Ей бы следовало за время сидения под окошком придумать, что сказать этой незримой и неласковой Степаниде.

– Прислал-то тебя кто? – видя, что девка растерялась, пришла ей на помощь ворожея.

Тут Аленка еще ниже голову повесила. Как ей было сказать, что узнала про Степаниду Рязанку в самом Верху, в покоях государыни царицы? Да такую верховую гостью ворожея, пожалуй, ухватом из дому выбьет!

– Впусти, бога ради, – повторила девушка. – Не то пропаду. – И заступила порог.

– Хитра, девка! – сердито воскликнула Рязанка. – Да заходи уж! Кому говорю?! – Крепкая рука ухватила Аленку и втянула в сенцы, а сама хозяйка вышла на крыльцо. – Катись катаньем, доля худая, разлучница-кумушница, – сказала она негромко, но внушительно. – Катись, не катись, у порога не крутись, за крыльцо не цепляйся, на воротах не виси! Песья, лешова, воронья подмога, катись от порога! – И потянулась к серпу, заткнутому в стреху над порогом

для обереженья от нечистой силы. Там же, как заведено, висели для той же надобности пучки крапивы и чертополоха.

Аленка, не дожидаясь, пока неведомая ей разлучница-кумушница ответит Никитишне, проскочила в комнатку.

Там сильно пахло пряными травами, и ничего, что указывало бы на связь с нечистой силой, Аленка не обнаружила. Дом свой ворожея вела чисто, а что до трав, сушившихся по всем стенам, так этого добра и в прочих домах хватало. Просто тут они были всюду – даже вокруг киота с образами.

Увидев темные лики, Аленка малость успокоилась, поклонилась им, перекрестилась. Потом огляделась. Ни колыбели, ни постели на лавке не увидела. Ворожея, похоже, жила тут одна.

Тем временем Степанида Рязанка вернулась в сени, заложила засов и ступила в комнату.

– Шустрая! – сказала она неодобрительно. – С чем пожаловала?

Аленка вздохнула, нерешительно подняла глаза на ворожею – и ахнула.

Баба оказалась кривой.

Под кикой на ней был платок, спущенный на лоб наискосок, чтобы прикрыть бровь и глазницу. Щека, сколько можно разглядеть, тоже была попорченная. Зато единственный глаз уставился на девушку строго и грозно.

– Ты, матушка, что ли, Степанида Рязанка? – поразившись уродству, о котором Наталья Осиповна и Пелагейка то ли не знали, то ли умолчали, спросила Аленка.

– Иным разом и Рязанкой кличут, – согласилась одноглазая ворожея. – А ты Степанидой Никитишной зови.

Аленка торопливо развязала узелок и выставила на стол лопухинское сокровище.

– Ларчиком и чарками, Степанида Никитишна, тебе кланяюсь, – прошептала она.

– Да уж не парня ли тебе приворожить? – удивилась Никитишна. – Бедная ты моя, этого я тебе сделать не могу... – Она взяла серебряную чарку за узорную плоскую ручку, поднесла ее, как бы приноравливаясь пить, к губам, и Аленка подумала, что вот еще одному человеку это движение показалось неловким. – Ступай, ступай и приношеньице свое забирай, верни туда, где взяла, – без всякого сожаления вернув вещь на стол, приказала ворожея. – Да не ходи сюда боле!

Уходить Аленка никак не могла.

– Да что ж ты, приросла к половице, что ли? – возмутилась ворожея. – Ступай, девка, не гневи Бога. Твой жених еще нескоро тебя под венец поведет. Беги, беги, пока мать не хватилась!

Тут лишь Аленка поняла, что Рязанка, как и многие, сочла ее девчонкой-подростышем, да и заподозрила вдобавок, что чарочки с коробочкой – из материнского ларца краденые. Она выпрямилась, вытянулась и смело посмотрела ворожее в единый глаз.

– Не пойду я никуда, – сказала она твердо. – Сделай милость, матушка Степанида Никитишна, помоги! Не сможешь – так тут и останусь!

– Оставайся, – усмехнулась баба. – Каково вот только возвращаться будет? Косенку-то небось так тебе переберут, что и косник не к чему цеплять станет!

– Если ты, матушка Никитишна, не сможешь – то и возвращаться мне незачем, – отчаянно прошептала Аленка. Так ведь оно и было: не выполнив Дунюшкиной просьбы, не посмела бы показаться на глаза подруженьке. А коли вспомнить, что и из Кремля удрала без спросу?..

– Уж не в петлю ли ты, девка, собралась? – забеспокоилась ворожея. – Брось. Пустое это. Наживешь себе еще паренька... Тебе не к спеху.

Она оглядела Аленку повнимательнее, оценила ее наряд – шитую в Светлице телогрею из темно-синей зуфи со связанными на спине длинными рукавами, верхнюю сорочку из алой

шиды, тонкой (своей!) работы зарукавья, шелковую кисть косника – и поняла, что девка не из бедного житья. Да и насчет возраста усомнилась. Кто станет недоросточка так наряжать?

– Сколько лет-то тебе?

– Двадцать два на Алену равноапостольную исполнилось.

– А не врешь?

– Вот те крест, не вру. – Аленка честно перекрестилась.

– Ну присаживайся, что ли.

Аленка села на лавку. Степанида Рязанка встала напротив коленками на стулец, локтями на стол оперлась и вздохнула.

– Говори уж, чего надо.

– Отворот нужен, – прошептала девушка. – Самый сильный, какой только есть.

– Слабый отворот, стало быть, уже испытала? – насмешливо спросила ворожея. –

Ну и что же ты такое проделала?

– Заговор читала.

– А как ты его читала? – вдруг заинтересовалась ворожея.

– Ночью, на распутье.

– Это правильно. Ты помнишь его?

– Помню...

– Произнеси! – потребовала Рязанка.

– Крест сымать? – безнадежно спросила Аленка.

– Сымай, – подумав, велела ворожея.

Аленка выложила на стол свой крестильный крестик серебряный. Никитишна взяла его на ладонь, разглядела, прищулив единое око.

– Потемнело серебро-то, девка, – непонятно для чего сказала.

– Все время темнеет, – пожаловалась Аленка.

– Плохо... Ну, говори.

– Стану не благословясь, выйду не перекрестясь, – робко произнесла девушка, – из избы не дверьми, из двора не воротами, а окном... окном...

– Дымным окном да подвальным бревном, – подсказала Никитишна. – Нельзя спотыкаться. Давай-ка смелее!

– Выйду на широку улицу, спущусь под круту гору, – продолжила Аленка, – возьму от двух гор земельки. Как гора с горой не сходится, гора с горой не сдвигается, так же бы раб Божий Петр с рабой Божьей Анной не сходился, не сдвигался...

– Это все, что ли?

– Нет... Гора на гору глядит, ничего не говорит, так же бы раб Божий Петр с рабой Божьей Анной ничего бы не говорил. Чур от девки, от простоволоски, от женки от белоголовки, чур от старого старика, чур от еретиков, чур от еретич, чур от ящер-ящерич!

Аленкина рука сама по себе вознеслась, дабы осениться крестом, но креста-то на шее не было, и она, вдруг испугавшись, схватила его со стола, торопливо накинула гайтанчик на шею и пропустила крест под сорочку.

– Не помогло, стало быть? Ох, дура девка... Кто же так отворот-то произносит? Слова в нем слабые, никудышные, замка в нем нет. Какая дура тебя этому научила?

Аленка потупилась.

– Вот то-то – дуры вы, коли беретесь за дело не умеючи, – помолчав, сжалилась Степанида. – Ты когда приворот или отворот говоришь – как иголкой с ниткой прореху зашиваешь, поняла? А узелка не сделаешь – и опять прореха будет. Поняла?

Аленка закивала.

– Если ты, скажем, богородичный заговор на здоровье дитяти читаешь и начинаешь с того, как Богородица на престоле сидит или по дороге идет, то заканчивать его надо так:

не я заговариваю, заговаривает Пресвятая Богородица своими устами, своими перстами, своим святым духом!

– ...своими устами, своими перстами, своим святым духом... – зачарованно повторила Аленка.

– Или, скажем, когда лихорадку утишаешь, то ей приказать нужно... – Ворожея вдруг вся подобралась, как кошка у мышиной норы, заслышав шебуршанье, и негромко, но весомо произнесла: – Тут тебе не быть! Червоной крови не пить с порожденного, молитвенного, крещенного раба Божия! Во веки веков! Аминь! – Она усмехнулась Аленке: – Вот то и будет замок. Или еще можно совсем по-простому сказать: ключ небо, а замок земля. Вот небо с землей твой заговор между собой и замкнут. Или так: слово мое крепко, аки камень, аминь, аминь, аминь. Ну да ладно, с чего мне тебя уму-разуму учить? Что далее-то сотворила?

– Крест скорее надела, домой побежала...

– И все?

Аленка кивнула.

– Да явственно же сказано – возьму от двух гор земельки! – возмутилась Никитишна. – Не на перекресток нужно было выходить, а встать... ну хоть меж двух холмиков! Земли две пясточки с них взять, смешать, воду на той земле три дня настоять да той водой молодца и напоить! Какая только дуреха тебя так скверно научила?

– У нее-то получалось, – обиженно пискнула Аленка.

– А у тебя вот не получилось. Тут еще и злость много значит. Когда наговариваешь на питье или на еду, злиться надобно... – За неимением еды Никитишна возложила руки на ступку с травами и заговорила с тихой, от слова к слову растущей яростью: – Выйду я на широку улицу, спущусь под круту гору, возьму от двух гор земельки. Как гора с горой не сходится, гора с горой не сдвигается, так же бы раб Божий Петр с рабой Божьей Анной не сходилась, не сдвигался! Чтоб он ее возненавидел, не походя, не подступя, разлилась бы его ненависть по всему сердцу, а у ней по телу, на рожество, не могла бы ему ни в чем угодить, опротивела бы ему своей красотой, омерзела бы ему всем телом, чтоб не могла она ему угодить ни днем, ни ночью, ни утром, ни вечером, чтобы он – в покой, она – из покоя, он бы на улицу, она бы с улицы, так бы она ему казалась, как люта медведица! – На последних словах ворожея приподнялась над столом и, раздвинув локти и сгорбившись,дохнула Аленке в лицо.

И почувдилось той, что над ней и впрямь медведица нависла.

– Ох, спаси и сохрани!

– То-то, девка. Но один заговор на тех же рабов Божьих дважды не произносят. Тебе иное нужно.

– А сделаешь иное?

Никитишна посмотрела на гостью пронизывающе.

– Сделать могу. Есть у меня сильная травка-прикрыш, на великоденский мясоед брана. Она иным разом свадьбу охраняет, а иным – брачную постель портит. От слов зависит. Да все одно ничего у тебя, горькая ты моя, не выйдет...

– Как это «не выйдет»? – возмутилась Аленка. – Ты мне только ее дай! И словам научи!

– Для кого стараешься-то? Для сестрицы, чай? – спросила ворожея.

– Для подруженьки, – отвечала несколько изумленная такой пронизательностью Аленка.

– А что ж подруженька сама не придет?

– Стерегут ее.

– Вот я и толкую – одна ты не управишься, ничего у тебя не выйдет. Ну, наговорю я на травку-прикрыш, изготовлю подклад, засунешь ты его той разлучнице Анне под перину... Так ведь мало этого! Вот послушай, девка. Подклад – это чтобы меж ними телесного дела не было. А тоска-то у того Петра по той Анне останется! Стало быть, нужно его еще и от тоски отчитывать. Но это, пожалуй, и мать, и бабка смогут.

- Мать?! – переспросила Аленка, придя в ужас от одной мысли о Наталье Кирилловне.
- Хорошо бы мать, это такие слова, что лучше помогают, когда родная кровь нашепчет.

А потом – три, а то и четыре сильных приворота нужны, чтобы этот Петр твою подруженьку опять полюбил. И смотреть, чтобы после того никто его испортить не пытался!

- А как смотреть-то? – спросила ошарашенная всеми этими речами Аленка.

Ворожея лишь вздохнула.

– Коли у твоей подруженьки родная мать жива, пусть бы она пришла. А тебе в это дело лучше не мешаться. Проку от тебя тут, девка, не будет, окромя вреда.

- Да я для Дунюшки все сделаю! – взвилась Аленка.

– Ты много чего понаделаешь. Уж и не знаю, давать ли тебе подклад...

– Степанида Никитишна, матушка, век мы с Дуней за тебя Бога молить будем! В поми-
нанье впишем! – горячо пообещала Аленка. – Только помоги!

- Помочь разве?..

Ворожея задумалась.

Аленка смотрела на нее со страхом и надеждой.

– Ладно. Сейчас изготовлю подклад. Наговорю на травку-прикрыш, увяжу в лоскут, и сне-
сешь ты узелок в дом разлучницы, и засунешь ей под перину. Хорошо бы еще перину подпороть
и в самую глубь заложить, чтобы никогда не сыскали. И слова скажу, с какими подкладывать.
Через три дня придешь – тогда подумаем, что еще сделать можно. Да только сдастся мне, девка,
что нескоро я теперь тебя увижу... – Степанида пристально поглядела на Аленку, покрутила
носом – как если бы от девушки странный дух шел, и повернулась, стала шарить по стенке,
где травы висели. Вдруг обернулась: – Только гляди! Остерегайся! Поймают – долго ты мою
ворожбу расхлебывать будешь! А коли меня назовешь, – Степанида Рязанка так уставилась
на Аленку, что у той перед глазами все поплыло-поехало, – под землей сыщу! Бесовскую пасть
на тебя напущу! А бесовскую пасть с тебя никто снимать не захочет – побоятся! И сожгут тебя,
аки силу сатанинскую, в срубе!..

Более Аленка ничего не слышала и не видела.

Очнулась она, стоя посреди дороги. Как сюда дошла, зачем здесь оказалась – не вспом-
нить. Ох, а Дунюшкины чарочки-то где?! Охлопав себя руками, Аленка обнаружила, что сунут
ей за пазуху какой-то колючий сверток. Она вытащила его, отвернула край лоскута, поню-
хала – трава сохлая... Лучины в ней какие-то, с двух концов жженые, тряпочка скомканная,
перышко... Спаси и сохрани!

Вспомнив, что это – подклад для Анны Монсовой, Аленка успокоилась. Чарочки, стало
быть, у ворожеи остались. А теперь как быть? Неужто в Немецкую слободу бежать среди ночи?

Однако светлело уж небо. И не было у Аленки желания лечь вздремнуть. Уж неизвестно,
что над ней проделала Степанида Рязанка, но бодрость духа вновь проснулась в девушке.
Что ж, коли надо в Немецкую слободу, – придется днем туда пробираться. В Верх-то возвра-
щаться все равно нельзя. И к Кулачихе соваться, дела не сделав, тоже...

6

Правду говорили светличные мастерицы – в Немецкой слободе с возвращением государя Петра Алексеича от праздников продыху не было. То у генерала Гордона, то у Лефорта, то иная всякая слободская шелупонь повадилась звать государя на крестины.

И что ни ночь – потеха огненная: колеса в небе крутятся, стрелы летают, а иногда и вовсе буквы вспыхивают, страх! Не к добру в Божьем небе такие безобразия устраивать, не к добру... Девки, что работали в слободе по найму, видели все эти еретические небесные знамения из-за реки. Собственно слобода, куда еще при государе Алексее Михалыче всех немцев от греха подале сселили, была по одну сторону Яузы, а Лефортов дворец, где устраивались потехи, – по другую. И немцы ездили туда на лодочках.

Узнала Аленка у девок и про Анну Монсову. Аврашка Лопухин соврал: немка считалась тут красавицей, вокруг нее прежде так и вились все, пока государь Петр Алексеич к себе не приблизил. А когда его нет – сам Лефорт в доме у золотых дел мастера Монса живмья живет. Вообще-то, у того две дочери на выданье, и вторую, старшую, девки называли Матреной Ивановной, потому что имечко заморское им было не выговорить. Девкам наемным жилось у немцев неплохо, а на ночь они по домам расходились: тут не было заведено, чтобы вся дворня в одном подклете спала.

Аленка, проходя, дивилась каменным домам с большими окнами, а пуще того – горшкам с цветами на подоконниках. Жили немцы попросту: то и дело в дома входили, из домов выходили, двери – нараспашку, словно о ворах и слыхом не слыхивали. Безалаберно, словом, жили.

Лишь к вечеру, когда наемные убрались прочь, притихла слобода.

Неподалеку от дома Анны Монсовой новый каменный дом кто-то строить затеял, вот Аленка там и укрылась. Сама Анна, видать, еще днем отправилась на тот берег Яузы, в Лефортов дворец. И сестра Матрена – с ней вместе. Тих был дом, но это еще не означало, что пуст.

Из-за реки ветер музыку донес, и тут же раздались голоса. Аленка насторожилась: к реке торопливо шли шесть мужчин и четыре женщины. У женщин на головах то ли из шелка, то ли из тафты накидки, у шеи шнурками стянутые, края вперед торчат, лица прячут, не понять – старые или молодые. Весело переговариваясь, ушли эти немцы к Яузе, стали там кричать – должно, лодку кликать.

Потом по песчаной дорожке пробежали две девки – в высоких кружевных шапочках странного вида с лентами удивительных цветов, и сквозь кружево были пропущены завитки волос. Смutilи эти вольно разметавшиеся волосы Аленку: на Москве вон даже зазорные девки, что на Неглинке поселились, причесывались гладко, опрятно. Еще же более поразило ее то, что обе немки были стянуты по животикам так, что, казалось, одной рукой можно обхватить каждую.

Тем не менее за этими лишенными всякого дородства девками бежали два молодых немца, придерживая оперенные круглые шляпы на длинных кудрях. Аленка уже знала, что мужчины здесь носят накладные волосы, и даже подумала, что по осеннему да зимнему времени не так уж это и глупо – может заменить меховую шапку.

Немецкие девки были тонки, вертлявы, голосисты, бесстыжи, но немцам, видно, все это нравилось. И если проклятая беспутная Анна здесь – первая красавица, то неужто ж она тоньше, шумнее и вертлявее прочих? Как же это может нравиться государю? После статной тихогласной красавицы Дунюшки – полюбить этакую обезьяну?!

Шумная молодежь спустилась к Яузе, где были привязаны лодочки – нарядные, с цветными флагами на корме. Один немец прыгнул в лодку, протянул одной девице руку, потом –

другой, те долго усаживались, расправляя наряды, и все это у них получалось весело, празднично.

Видать, очень многие получили приглашение на пир к Францу Яковлевичу Лефорту – одни разве что старики да малые дети остались в той части слободы, где жил Монс. Когда последние приглашенные спустились к причалу и уселись в лодочки, слобода будто вымерла. Да и девки еще днем Аленке растолковали: вот наступит вечер, начнется великое гулянье, и тогда из дому хоть печь выноси – не заметят.

Домá в Немецкой слободе стояли открыто, у невеликих крылечек росли во множестве низкие кусты – видно, весной и летом они вовсю цвели. Крылечки те были малы, потому как большого крыльца такому дому и не надобно: жилые горницы поставлены не на подклетах, подниматься в них не приходится, и большие окошки до того низко – подходи да гляди, что в домишке деется.

Аленка покрутилась возле Монсова дома. Было тихо: ни мужского голоса не слышалось, ни женского. Набралась она духу, толкнула дверь – и та оказалась открыта. Аленка, перекрестясь, вошла.

Страшно ей сделалось до жути – никогда ведь раньше в чужие дома воровски не забиралась. И где здесь что? Где сам мастер Монс спит, а где – дочка его треклятая? И ведь не одна у него дочка! Вот и разбери поди...

В нижнем жилье было тесно – света из единственного в сенях окошка хватало, чтобы лишь разглядеть широкую витую лестницу в верхние покои да две притворенные двери.

И тут Аленка услышала, как бежит-торопится человек по улице, несет мелкими шажками. И влетел тот человек вслед за ней – она только и успела под лестницу шархануться. И оказалось, что это девка молодая, задыхавшаяся от слез.

Девка, не споткнувшись впотьмах ни разу, взбежала по знакомой ей лестнице, и наверху хлопнула дверь.

Для Аленки это означало скорое появление мамок и подружек, а суета галдящего бабья была сейчас ни к чему: Аленке совершенно не хотелось, чтобы ее вынули из-под лестницы с отворотной травкой за пазухой. Поэтому решила она выскользнуть из Монсова дома, переждать и попытаться снова. Но стоило ей шелохнуться, как одна из ближних дверей нижнего жилья скрипнула.

Аленка снова замерла.

Кто-то шагнул из темноты в сенцы, прошел к окну, и Аленка на мгновение увидела очертания лица. То был мужчина с непокрытой головой, без накладных волос, довольно высокий, горбоносый и – бородатый! Борода была недлинная и как бы топором обрубленная, а более Аленка и не разглядела. Оказавшись у двери, ведущей на улицу, мужчина приоткрыл ее ровно настолько, чтобы протиснуться, и исчез.

Аленка метнулась к окну и увидела, что он торопливо удаляется прочь. Она чуть не ахнула вслух – на нем было долгополое русское платье!

Нужно было поскорее уносить ноги из этого проклятого дома! Пусть даже через окно – тут-то Аленка и порадовалась, что в немецких домах они прорублены до смешного низко. Но только она начала примериваться к подоконнику, как за стеклом вдруг обнаружился другой человек! Тоже мужчина, тоже немалого роста, но на сей раз – в немецком коротком платье и в накладных волосах. Он стоял напротив дома, но на таком расстоянии, что Аленка видела его всего целиком – от шляпы до башмаков с пряжками.

Неожиданно мужчина подобрал камушек, размахнулся и запустил им вверх. Стукнув в оконный переплет, камушек упал наземь. Очевидно, этот человек вызывал наружу девку – может, Анну Монсову, а может, ее сестрицу.

Наверху послышались шаги, так что для Аленки не было теперь иного пути, кроме как нырнуть обратно под лестницу.

Девка, на сей раз с подсвечником на одну свечу, спустилась, поставила подсвечник на подоконник, отперла дверь, впустила того мужчину и вдруг бросилась к нему на шею.

– Анне!.. – укоризненно начал было он, но девка не дала ему продолжить.

Они стали целоваться.

Аленка глазам и ушам не верила – ведь знал же весь Верх, что государь Петр Алексич немку к себе приблизил! А она, немка? Что же, государева милость для нее – как драная вехотка?..

Мужчина отстранил от себя Анну Монсову, принялся ей что-то втолковывать. Аленка не видела их лиц, но чувствовала – девка очень его словами недовольна. В конце концов немцу удалось настоять на своем – девка вздохнула и покорилась: толкнув дверь, вышла из дома первая. Он поспешил следом.

Поняв, что осталась наконец одна, Аленка поднялась по лестнице и там оказалась перед выбором: в узкий коридор выходили три двери, и поди знай, за которой – опочивальня трехклятой немки!

Аленка заглянула в первую и – обнаружила спящее дитя. Это был прехорошенький мальчик, по видимости – самый младший сынок Монсов. И не было рядом ни мамки, ни няньки, ни захудалой сенной девки! Все женщины, сколько их было в монсовом домишке, ухлыстали веселиться, оставив дитя в одиночестве. Это возмутило Аленку безмерно. Она и представить не могла, чтобы хоть одна из ее подружек-мастериц, не говоря уж о молодых боярынях в Верху, оставила сыночка без присмотра, не посадила с ним хоть какую глухую бабуку. Странные нравы были в Слободе...

Аленка сунулась в другую дверь – там стояли две постели. Причем одна была застлана пристойно, а на другой как будто кто валялся.

Кровати у этих немцев были так себе, низкие. Для Аленки приступочки перед ложем и возвышающиеся сугробом тюфяки, покрытые перинами, были непременной принадлежностью небедного житья. Она усмехнулась про себя: неужто на этакой скудости та змея подколотная Анна государя принимает? Не сравнить же с Дунюшкиными пуховиками!

Достав из-за пазухи узелок, Аленка прокопала рукой пещерку под тюфяком и затолкала туда подклад. Что-то еще велела произнести Степанида Рязанка над прикрыш-травой, но что – у Аленки, как на грех, вылетело из головы. Она задумалась, стоя на коленях перед кроватью. И видно, крепко задумалась, раз не сразу поняла, что шаги на лестнице приблизились уже вплотную!

Выхода не было – Аленка нырнула под кровать.

Вошли, внося свет, двое – судя по обуви, Анна Монсова и тот мужчина, с которым она целовалась внизу.

Беседовали оба по-немецки и явно были чем-то весьма довольны. Потом сели на ту постель, под которой схоронилась Аленка. Она видела их ноги: одна пара – в больших запыленных башмаках с пряжками и в белых чулках, другая – в бархатных башмачках, уже несколько потертых.

Ноги вели себя странно – переступали, приподнимались, а потом и вовсе исчезли, как будто в воздух взмыли. Причем сразу же прекратились и речи. Потом бархатные башмачки вишневого цвета один за другим упали на пол, мужские же башмаки куда-то подевались.

Аленка не сразу сообразила, что означает поскрипывание кровати над ее головой. А когда поняла – от стыда чуть не умерла. Там, над нею, мужчина и женщина торопливо, даже не раздеваясь, соединились.

Прошло неимоверно долгое время, когда наконец раздался негромкий и торжествующий смешок женщины. Мужчина о чем-то спросил, она ответила.

Дивно Аленке было, что они предаются блуду, имея под собой заговоренный подклад, который, по словам Степаниды Рязанки, должен был нарушить это дело. Хотя, очевидно, под-

клад оказался смысленый – должен был вредить лишь рабе Анне с рабом Петром, а прочих мужчин подпускать к немке беспрепятственно.

Вскоре на пол ступила нога в большом башмаке, за ней и вторая. Крупная рука, едва видная из-под белого, нездешней работы кружева, нашарила оба маленьких башмачка и вознеслась вместе с ними.

Двое на постели снова заговорили, но теперь голоса были озабоченные.

Анна соскочила, потопала (видно, маловаты ей были башмачки, хоть и ладно сидели), и первая вышла из опочивальни. Мужчина, подзадержавшись, – за ней.

Подождав, выбралась Аленка из-под грешной постели, прокралась к лестнице и тут неожиданно услышала русскую речь.

– Ты ли это, Франц Яковлевич? – спросил задиристый юношеский голос. – Мы ж тебя, сударь мой, обыскались!

– Я пошел за Аннушкой, Алексаша, чтобы уговорить ее вернуться. Нехорошо, когда красавица в разгар веселья покидает общество, – отвечал тот, кого назвали Францем Яковлевичем, тоже по-русски и даже вполне внятно.

Аленка даже рот приоткрыла – неужто сам Лефорт?!

Собеседники стояли в дверях, причем Алексаша – так, как если бы собирался входить в дом, а немец – как если бы собирался его покинуть. Анны поблизости не было. Видно, выскользнула первой, чтобы их, блудодеев, вместе не встретили.

– Ну и как, уговорил ли, Франц Яковлевич? А то государь в толк не возьмет, куда она подевалась. Он ведь с ней так не улавливался.

– Я не застал ее наверху.

– Кого ж ты тогда там, сукин сын, уговаривал?! Святого духа?..

Сорвалось грубое слово – да отступать некуда: вытянулся Алексаша, подбородок бритый выставил, грудь выкатил. Застыли оба на мгновение – росту равного, грудь в грудь, глаза в глаза.

Немец отвечал на сей раз по-немецки, повелительно, и даже замахнулся на парня.

Тот ответил по-немецки же, и жаль – ни слова не понять.

Лефорт прервал его, высказал нечто краткое, но весомое, и попытался отстранить.

– Она же теперь не твоя, а государева! – возмутился, уже по-русски, Алексаша. – Проведает государь – камня на камне от вашей слободы не оставит!

Немец неожиданно рассмеялся и сказал что-то такое, от чего защитник прав государевых лишь руками развел.

– Больше так не делай, юноша, подслушивать под окошками – дурно. – Немец, порывшись в накладном кармане, достал нечто и передал парню из горсти в горсть.

– Как же теперь с Аннушкой быть? – пряча деньги, спросил Алексаша.

– Я ее уговорил, – ответил Лефорт. – Придет. Будет кротка и покорна, как боярышня. – С тем и удалился по темной улице.

– Ах, растудыть твою... – Алексаша витиевато выразился и присел на порог у полуоткрытой двери.

Только его тут Аленке не доставало!

Вдруг он вскочил – похоже, услышал что-то! – и пропал из поля зрения Аленки.

Надо было удирать.

Девушка метнулась к двери и увидела, что Алексаша, стоя посреди улицы, выплясывает нечто непотребное – кланяется, отклячив зад и метя по пыльной земле рукой, да еще подпрыгивая при том. Выкрутасы свои он выделял перед тремя всадниками. Те наблюдали за ним, но лица их, скрытые широкими полями оперенных шляп, были недосыгаемы для взгляда.

– Ну полно, будет! – сказал наконец один из них на чистом русском языке. – Ты, сокол ясный, не вчерашнего дня ли тут ищешь?

– Я по государеву делу, твое княжеское высочество! – с некоторой обидой отвечал Алексаша.

Всадник поднял голову и убедился, что окна во втором жилье темны.

– А где же государь? Чай, и не ведаешь, что ты по его делу хлопочешь...

– На том берегу, во дворце, Борис Алексеич! – бодро отвечал Алексаша. – Крикнуть лодку?

– А мы с доктором Лаврентием чаяли его здесь найти...

Князь Голицын повернулся к другому всаднику и сказал ему что-то по-немецки. Тот ответил и развел руками, как бы признавая в некоем деле свое бессилие.

– Государь сговорился с Анной, что она первая сюда прибежит, а он – за ней, – не слишком уверенно молвил Алексаша.

– Ф-фу, в горле пересохло, – буркнул Голицын и, видно, сам же перевел свои слова на немецкий язык для доктора Лаврентия.

Тот со всей услужливостью залопотал, указывая рукой в глубь улицы.

Третий всадник тронул было своего коня, но слышавший их разговор Алексаша остановил его.

– Зачем же юнкера взад-вперед гонять? – спросил он, уразумев, что доктор предлагает прислать прохладительный напиток из своего дома. – Матрена Ефимовна завсегда на кухне лимонад в кувшине оставляет. Кувшин большой, всем хватит, да государь его и не больно жалует. – И удержал под уздцы немецкого коня.

Голицын сказал что-то доктору Лаврентию, тот быстро произнес несколько слов в ответ и рысцой поехал прочь.

– Сказал, чтобы юнкер нам услужил, а сам он заедет домой и оставит... оставит... – тут Алексаша запнулся.

– Суму с прикладом своим лекарским, – помог ему с переводом Голицын, в то время как юнкер, молодой спутник Лаврентия Ринцберга, уже слезал с коня. – Ты бы при нем, Алексаша, язык не распускал – он по-русски изрядно понимает, еще при государе Алексее Михайлыче переводчиком служил.

– А что ж скрывает? – опешил Алексаша.

– А ты его спроси! – ехидно посоветовал Голицын. – Вот он теперь по всей слободе и разнесет, что государев прислужник что-то возле монсова дома вынюхивал. То-то бабам радости будет!

– И так все видят, что эта блядина дочь государя морочит! – хмуро возразил Алексаша. – Борис Алексеич, как же это так? Государь же ей, дуре, честь оказал! Я все не верил, а сегодня... подслушал. Государю надо сказать – почто он такую падлу к себе приблизил?

– Молчи, дурак, – строго, но беззлобно одернул Голицын. – Не твое собачье дело. Государь все и без тебя знает. Девка государя пока что боится, а он – ее... Молчи, все равно не поймешь. Государь с Францем Яковлевичем сами разберутся.

Молодой немец тем временем вошел в монсов дом. Видно, ему и прежде приходилось тут бывать, ибо он сразу взял оставленную Анной на окошке свечу и направился на кухню. Аленка еле успела юркнуть за дверь. Теперь лучше всего было бы, если б и Голицын с Алексашей вошли следом, но они предпочли разбираться в государевых отношениях с немкой на улице.

– Что ж ее бояться-то? Разве у него ранее дел с немками не было? – спросил Алексаша не столь князя, сколь самого себя.

– Не жена, чай, – лениво пояснил Голицын. – Не угодишь – другого съест, а этой и искать недалеко: Франсишка вон чертов ее, видно, к доброму угождению приучил. А государю где было выучиться? Не с теремными же клушами... Да что он там, сам лимонад готовить взялся?

Как бы в ответ на эти его слова на кухне что-то рухнуло. Встревоженный Голицын крикнул по-немецки, но ответа не получил.

– Карауль здесь! – быстро приказал он Алексаше, а сам, едва не зашибив Аленку дверью, ворвался на кухню.

Алексаша обернулся вправо-влево и ловко достал укрытую прежде полами кафтана пистоль.

– Сюда! – крикнул ему почти тотчас с кухни Голицын. – И дверь за собой запри!

– А что?

– Худо!

Аленка скрылась в испытанное место – под лестницу. Алексаша вбежал, заложил дверь засовом и в два шага оказался на кухне.

– Пресвятая Богородица! – только и воскликнул он.

– Тише...

– За доктором Лаврентием бежать?

– Поздно.

– Это... что же?.. – до парня только-только стало доходить жуткое. – Это для государя зелье припасли?

– Молчи, Алексаша. Молчи. Боже тебя упаси шум поднимать! От тела избавиться нужно.

– Да как же? Да всех же нужно на ноги поднять! Может, тот злодей недалеко ушел!

– Да молчи же ты! – прошипел Голицын. – Нельзя шум подымать! Помнишь, как в прошлом году о сю же пору было? Как наши немцы уразумели, что государя отравить пытались, – так первый Франчишка Лефорт лыжи наострил, кони день и ночь стояли наготове. Вся Слобода полагала убираться из Москвы поскорее, да и сам я с минуты на минуту беды ждал. Вот те крест, Алексаша, – не стал бы государевых похорон дожидаться! Если сейчас немцы пронюхают, что Петру Алексеичу опять зелья в питье подлили, – уж точно с места снимутся. Позоруето будет! И шведский, и голландский резидент сразу своим государям отпишут – с Москвой-де не связывайтесь, там царей травят. Понял? А нам с ними жить... Так что молчи, Христа ради. Не удалось тому блядину сыну, промахнулся – и ладно. Молчи, понял? Известно, куда ниточка тянется. Мы до них еще доберемся...

Алексаша кивнул: куда ж еще та ниточка протянуться могла, как не в Новодевичий монастырь, в келейку к государевой сестрице!

– Бухвостова с Ворониным и Луку Хабаровова сыскать надо, – предложил он. – Эти – надежные. Пусть возьмут тело, донесут до Яузы и – того... в навигацию...

– Разумно, – одобрил Голицын. – До утра сего кавалера не хватятся, а пока из Яузы выловят – времечко пройдет. А может статься, и не выловят вовсе – коли Лука исхитрится...

– Исхитрится, – пообещал Алексаша.

Голицын достал кошелек, вынул, не глядя, денег, протянул:

– И напоить всех троих до изумления!

– Постой, Борис Алексеич! – Алексаша удержал собравшегося было идти князя. – Ежели я за молодцами побегу, то тебе – удержать государя надобно, чтобы раньше времени сюда не пожаловал. Не вышло бы беды! Нужно этот дом запереть!

– Легко сказать... Где ж мы ключ-то от замка возьмем? Не к Монсу же за ним бежать! Вот что, Алексаша. Тело нам самим вынести придется. И донести до кустов. Зажги свету, сколько можешь, чтобы мы тут с этим телом все вверх дном не перевернули.

Алексаша зажег на кухне лампадку, вышел, высоко ее держа, в сенцы. Тут-то и увидел под лестницей лицо.

– Борис Алексеич, сюда! Здесь баба! – почему-то шепотом позвал он, становясь между Аленкой и дверью.

– Баба?! – изумился Голицын. – Не было ж никого!

– Сам не пойму, откуда взялась! А ну, вылезай добром, пока силком оттуда не вынули!

Аленка выбралась из-под лестницы и была схвачена повыше локтя крепкой рукой Голицына.

– Гляди ты, сенная девка! – ничего иного по Аленкиному перепуганному личику да русскому наряду он и подумать не мог. – Алексаша, видел ты у Монсов эту девку?

– Нешто я на них, дур, гляжу? – обиделся тот. – Ты чья такова будешь?

Аленка обалдело молчала.

– Как звать-то тебя?

И на этот вопрос ответа они не получили.

– Вот оно как... Алексаша, беги-ка ты, свет, за Лукой с товарищами. Пусть веревку с собой прихватят. Возьмем эту девку ко мне домой и там ей язык развяжем, – решил Голицын. – Не было бы счастья, да несчастье помогло. Похоже, она много чего про бедного юнкера нам расскажет, если с пристрастием допросить...

– Вот она, ниточка, что из Новодевичьего тянется! – Алексаша по-волчьи оскалил ровные зубы. – Где-то, Борис Алексеич, я эту девку все же видел... Не у Монсов, разумеется...

– А где же?

– А вот погода – припомню... Сперва Луку приведу.

– Да только прытче, во весь дух! – приказал Голицын. – Не ровен час, государь с Анюткой пожалуют. Управисься – я уж тебя не забуду.

Он на мгновение отпустил Аленкино плечо, чтобы перехватить поудобнее, и она, плохо разумея, что творит, присела на корточки и – рванулась вперед. Проскочив в дверь под рукой у высокого Алексаши, соскочила с невысоких ступенек и опрометью понеслась по темной улице. За спиной, подгоняя, плескались связанные рукава телогреев.

Алексаша молча понесся следом.

Господь уберет Аленку: если б она кинулась прочь от Слободы и выбежала на открытое место – тут бы он, длинноногий, ее и нагнал. Но сбившуюся с пути девку понесло почему-то в сторону Яузы.

В узкой речке отражались вспышки огненной потехи, по ним плавали нарядные лодочки, хохотали женщины... Навстречу Аленке бежали, только что переправившись с того берега, две молоденькие немки (может статья, те самые, которых она этим вечером уже видела), а за ними – два кавалера. Аленка шарахнулась от них, пропустила – и понеслась далее. А вот Алексаше проделать того же не удалось: его окликнули, признав по кафтану за своего. И как он с теми немцами разбирался – Аленка так никогда и не узнала.

Пробежав немного вдоль Яузы, она заметила пустую лодку и, недолго думая, забралась в нее, оттолкнулась от берега и поплыла по течению – куда угодно, лишь бы подале от огненных вспышек в небе!

Грести Аленка не умела – куда ей, комнатной девке! – но ускорила, как могла, ход лодочки, а бросила ее и выбралась на берег, лишь когда услышала русскую речь. По словам рыболовов догадалась, что занесло ее к Земляному городу. А это уже, слава богу, Москва. И теперь самая пора была подумать – куда же дальше-то? В Верх? Отвечать, где это она ночью шлялась?

А коли Алексаша вспомнил, что эту девку-невеличку то в Преображенском, то в Коломенском, а то и вовсе в Кремле видывал? Росточек-то у нее приметный! В Верху и так шум подымется оттого, что она незнамо где ночевала, а тут еще и чертов Алексаша добавит...

А Аленкин подклад, Степанидой Рязанкой даденый, все еще под тюфяком у немки лежит! И мертвое тело в Яузе выловить недолго...

Господи Иисусе!

7

– Да ты, девка, с ума сбрела, – растерянно бормотала матушка Ирина. – Да как только тебя ноги сюда принесли?..

Аленка стояла перед ней на коленях.

– Не видел меня никто! – чтобы придать веры словам, она перекрестилась. – Я в калиточку проскользнула! Матушка Ирина, Христом-Богом прошу – не выдай! Я пытки не выдержу!

– Я тебя не выдам, а потом всех нас, и черниц, и белиц, к ответу притянут! Скажут – так-то вы Божеский закон исполняете? Скажут – чародеям и ворожеям потворствуете? Кабы кого другого пытались испортить, а то – самого государя!

– Да не напускала я на него порчу! – перебила Аленка.

Но матушка Ирина не слушала:

– Тому лет пятнадцать, как в царицыных светлицах корешок нашли, в платок увязанный. То-то кнутом мастериц попотчевали, пока разобрались! А тут – на государя посягновение!

Аленка уж и не рада была, что прибежала в монастырь. То ли она не сумела объяснить, то ли матушка Ирина не пожелала понять – только пожилая монахиня гнала сейчас свою давешнюю любимицу прочь. А более Аленке идти было некуда.

В Кремле ее схватили бы сразу. Если Алексаше удалось вспомнить, что за девка вырвалась у него из рук, если он с утра навестил светличную боярыню, тогда и к Лопухиным идти было опасно – туда бы за ней сразу явились. Аленке грозило обвинение в отравлении, а единственным ее оправданием было другое преступление – чародейство. Единственным же доказательством – пук сухой травы под тюфяком. И неизвестно, что хуже...

– Не уйду, матушка Ирина, не уйду отсюда! Погубят они меня!

Как ни была Аленка проста, а понимала: если ее схватят и начнут пытать, а она не выдержит и назовет Дуню или Наталью Осиповну, то станет в царицыных светлицах одной вышивальщицей меньше. А Дуня тогда уже не только в супружескую опалу попадет...

Инокиня снова забормотала, крестясь, снова оттолкнула девушку, требуя, чтобы та не губила монастырь и не подводила неповинных сестриц и матушек под плети.

– Я к игуменье пойду! – в отчаянии воскликнула Аленка. – Она не даст неповинную душу губить, она меня укроет!

– Да где укроет-то? Что, как тебя уже выследили? Поди прочь, а мы все скажем, что уж с год, как тебя не видали!

– Да куда ж мне идти-то?! – с тем, поднявшись с колен, Аленка и выбежала из кельи.

Матушка Ирина поспешила следом.

Аленка решила дожидаться выхода инокинь к заутрене, чтобы упасть в ноги матери игуменье, уж и место для этого наметила – у входа в маленькую зимнюю церковь. Но, к огромному своему удивлению, увидела, что дверь во храм уже открыта и внутри горят свечи.

Аленка заглянула: перед чудотворной Богородицей лежала, разметав по полу пóлы богатой шубы, женщина, а рядом на коленях стояла матушка игуменья.

Аленка проскользнула в церковь и встала так, чтобы, когда мать игуменья с той женщиной поднимутся и пойдут к выходу, оказаться перед ними. Но матушка Ирина, спешившая следом, углядела-таки, куда спряталась девушка, и вошла за ней, и, правой рукой крестясь, схватила ее левой за рукав сорочки. Аленка уперлась, не желая выходить, но затевать в храме возню было нельзя, поэтому обе, ни слова не говоря, лишь тихо сопели.

Женщина, что лежала перед образом, с трудом поднялась на колени, постояла, крестясь, и, опершись рукой об пол, встала на ноги. Теперь Аленка увидела, что ночная молитвенница роста среднего, сложения плотного, лицо у нее крепкой лепки, широкое, немолодое, скорбное.

– Не выживет он, матушка, – сказала женщина игуменье. – Не дошла моя молитва, ох, не дошла...

– Не умствуй, а молись, раба! – одернула ее игуменья, и тут увидела, как в углу, у свещного ящика, молча сражаются Аленка и матушка Ирина.

Оставив молитвенницу, твердым шагом направилась к ним. Матушка Ирина ахнула, встретив острый взгляд, и Аленка, воспользовавшись ее изумлением, выскочила вперед и рухнула на колени.

– Христом Богом молю! – воскликнула она. – Не выдавайте меня!

– Кто такова? – спросила строго игуменья.

– Алена, матушка, бояр Лопухиных, – объяснила матушка Ирина. – Все у нас постричься собиралась, да не отпускает ее государыня Авдотья Федоровна.

– Та Алена, что в Верх взяли золотошвейей? – вспомнила игуменья. – Та, что у нас подольник чернobarхатной фелони вышивала?

– Я это, матушка, я, – подтвердила Алена. – Смилуйся, не погуби!

– Чего хочешь, раба?

– Хочу постричься, – не вставая с колен, твердо объявила Аленка.

Игуменья задумалась.

Матушка Ирина, решив, что та в затруднении, поспешила непрошено прийти на помощь:

– Что за пострижение впопыхах? Мать игуменья, ты спроси у нее, окаянной, чего ради она посреди ночи в обитель тайком пробралась! Ты спроси у нее, что она этой ночью сотворила! Спроси, как она чары наводила! За ней же утром стрельцы явятся! Она всю обитель под плети подведет!

– Алена! – строго сказала игуменья. – Что молчишь? Говори!

Аленка вздохнула. Не прошло и часа, как она рассказала о своей беде матушке Ирине – а все, чего добилась, был лишь смертельный испуг инокини. Повторить этот рассказ таким, каким он сложился у нее в голове, пока сюда добиралась, девушка не могла – чтобы и игуменья со страху не выпроводила ее за ворота. А ничего другого в уме не припасла.

– Встань, раба, – приказала игуменья, взяла Аленку за руку и подвела к чудотворному образу. – Если виновата – ступай прочь, нет тебе здесь места.

– Я все расскажу, – торопливо произнесла Аленка. – Видит Бог, видит Матерь Божья, всю правду расскажу! Вот перед ликом... Пусть Матерь Божья знает – не виновата я!

– Молчи. Незачем мне знать твою правду.

– Матушка! – воскликнула инокиня. – Она же погубит нас всех!

– Она к Господу за помощью пришла, не нам ее отвергать! – властно осадил ту игуменья. – А если ее возьмут и пытать будут, она многих понапрасну оговорит – и этот ее грех будет на тебе да на мне! Кто видел, как она сюда пробралась?

– Алена, – матушка Ирина, чуя, что грозу стороной проносит, помягчала голосом, – верно ли, что тебя никто не видел?

– Только Марфушка. Она ведь там живет, у калиточки...

– Матушка Любовь Иннокентьевна! – мать игуменья повернулась к статной и скорбной ликом женщине, стоявшей у небольшого образа Спаса на водах и бормотавшей молитву. – Сжалился над тобой Господь – послал способ услужить Себе. Это – добрый знак.

– Не выживет Васенька, ох, не выживет, – отвечала женщина. – Сердце истомилось, не к добру такая смертная тоска...

– Не пререкайся, раба! А сделай вот что – возьми эту девку, увези, спрячь. Мы тебе ее вывести отсюда поможем. Послушание это тебе от меня. И воздастся.

– Поди сюда, – сказала женщина Алене. – А ты помолись за нас, за грешных, матушка. Полегчает Васеньке – пришлю в обитель и муки, и капусту, и свечу в пуд поставлю...

– Я помолюсь, а ты поспедай. Того гляди, сестры начнут в храм Божий сходить, заметят, чего не след, – поторопила игуменья. – А ты, – это уже относилось к Алене, – за Любовь Иннокентьевну и раба Божия Василия молись – через них от смерти спасаешься!

При выходе из храма Любовь Иннокентьевна распахнула полы своей необъятной шубы и, как насадка крылом, прикрыла Алену. Так и вывела ее во двор, так и провела к своему возку.

В пути Любовь Иннокентьевна разговоров не разговаривала, лишь молитвы бормотала.

Ехали, казалось бы, не столь уж и долго, а успели заговорить колокола. Сперва – мелкие, звонные, потом – средние. Уж чего-чего, а звона заутреннего на Москве хватало. В самой скромной сельской церквушке имелось не менее трех колоколов, что уж говорить о богатых монастырях и храмах, где одних больших очепных в каждом – едва ль не по десятку!

Возок остановился, и Любовь Иннокентьевна словно опомнилась – заговорила громко:

– Терешка, черт, вплотную к крыльцу подгоняй! Сам шлепай по грязище, коли желаешь, а меня избавь!

Когда возок встал окончательно, Любовь Иннокентьевна поднялась для выхода.

– Прячься, девка, – велела она. – Сейчас сразу ступени будут, я медленно всхожу, приноровись.

Выпихиваясь из возка разом с Любовью Иннокентьевной, Аленка, хоть и плотно прижатая к ее боку тяжелой полрой шубы, углядела в щелку крытое крыльцо о двенадцати ступенях и резные наличники высоко поднятых, как и должно быть в хорошем доме, окон. В сенях под ноги была постелена большая чистая рогожка. Точеные тонкие перильца двух лестниц вели из сеней одна вниз, в подклет, другая – вверх, к горницам.

– Матушка! – сверху в сени сбегали две пожилые полные женщины. – Голубушка!

– Жив Васенька? – спросила запыхавшаяся при подъеме Любовь Иннокентьевна.

– Жив, матушка, жив!

– Всюду побывала, всюду помолилась, – как бы подводя итог минувшей ночи, сообщила Любовь Иннокентьевна. – Одних свечей пудовых шесть штук Господу обещала. Перед Чудотворной простиралась. Более сделать – не в силах человеческих... Подите к себе, молитесь. А я – к Васеньке...

– Шубку-тоними, матушка!

– Потом. – Любовь Иннокентьевна отстранила женщин. – Продрогла – на каменном полу-то. Сбитню горячего – вот чего мне нужно. Принеси-ка, Сидоровна, в горницу. Посажу там у печки – отойду...

Женщины заспешили в подклет, где, знать, была поварня с кладовыми. Любовь Иннокентьевна, прижимая к себе Аленку, провела ее наверх, в горницу. Аленка углядела мореного дуба дверь с кипенно-белыми костяными накладками – архангельской, надо полагать, работы.

Горница была убрана богато – большая высокая печь так и сверкала сине-зелеными кафлями, а по каждой кафлине – то травка с цветом, то птица Сирин. Второе, что заметила Аленка, выпроставшись из-под шубы, так это шитую цветами и птицами скатерть на ореховом столе.

В святом углу размещался немалый иконостас, горели лампадки перед образами, а сама горница легкой синеватой дымкой душистого ладана была затянута – видно, в доме служили молебн. Вдоль стен, меж лавками под суконными полавочниками, стояли богатые поставцы с серебряной и позолоченной посудой. В углах высились сундуки, обитые прорезным железом. Все было дорого, но в меру, и Аленка решила, что ее спасительница скорее всего из богатых купчих. Не иначе, вдова – уж больно вольно живет для мужней жены: всю ночь где-то проездила, а никому отчета не дает.

Любовь Иннокентьевна тяжело опустилась на скамью.

– Садись, девка, – вздохнула женщина. – Что же с тобой делать-то, послушание ты мое?

– Отправь меня в какую ни на есть обитель, матушка Любовь Иннокентьевна, – попросила Аленка. – Век буду за тебя Бога молить!

– А своей ли волей ты в обитель идешь? – усомнилась купчиха. – Не спокоешься?
– Не спокоеюсь. Я и раньше того хотела.

Любовь Иннокентьевна задумалась.

– Бога за меня молить – это ты ладно надумала. Только вот что, девка... Кто ты такова, как звать тебя – знать не знаю, ведать не ведаю, и ни к чему мне это. Но если я тебя в отдаленную обитель отправлю – все одно придется тебе там назваться. А если тебя искать станут, то ведь не только на Москве – по обителям тоже пошлют спросить...

Дверь в горницу отворилась, на пороге выросла старуха и, завидев Любовь Иннокентьевну, кинулась к ней, всплеснув широкими руками подбитого мехом лазоревое летника:

– Матушка, кончается! Кончается светик наш Васенька!

– Не гомони! – оборвала ее Любовь Иннокентьевна. И тяжелым шагом двинулась в спальню.

Аленка поспешила следом. Старуха, шарахнувшись, привалилась к стенке за поставцом и мелко закрестилась.

Купчиха присела на край большой кровати, сдвинув локтем высоко постланные перинки, и позвала:

– Васенька, а, Васенька?.. – Из осененной пологом темной глубины никто не ответил. – Здесь останусь, – изрекла устало Любовь Иннокентьевна. – Более Бога молить, чем этой ночью, уже сил нет...

– Я с тобой, матушка Любовь Иннокентьевна, – и Аленка без приглашения села на приступочек внизу постели, сжалась у ног суровой купчихи, как кошка нашкодившая, – лишь бы не прогнали.

– Ну что же... – бормотала та отрешенно. – Соборовали тебя, Васенька... Глухую исповедь от тебя приняли... Мирром помазали... Все сделали, что надобно, Васенька... Более сделать ничего уж не могу... Прости, коли что не так... и я тебя во всем прощаю... по-христиански... – Отыскав в одеялах руку умирающего, выпростала ее, медленно начала гладить. – Жениться ты собирался, Васенька... Не довелось мне женку твою на пороге встречать... А уж как бы я детушек твоих баловала... – Она помолчала. Вдруг вспомнив про Аленку, молвила: – Слышь, девка. Надумала я. Отвезут тебя в Успенский девичий монастырь, что в Переяславском уезде, в Александровской Слободе. Игуменья там, мать Леонида, родня мне. Скажешься купечкой вдовой. Что, мол, привез тебя из Тамбова на Москву племянник мой, Василий Калашников, тайно, потому как пошла-де ты за него без родительского благословеньица. Потом Васенька за сыпным товаром ездил, в драку угодил и от раны скончался... И ты после него более замуж не пойдешь, а грех перед родителями замаливать будешь. Запомнила?

– Да, матушка Любовь Иннокентьевна.

– Будешь мне за Васеньку молеельница, за его грешную душеньку. Обещаешь?

Аленка нашарила рукой сквозь сорочку крест.

– На кресте слово даю – сколько жива, буду за упокой его души молиться.

– Поминанье Васеньке – на священномученика Василия, пресвитера Анкирского, что накануне шестой седмицы Великого поста. Запомнила?

– Запомнила. И за тебя век Бога молить буду.

– За него! А теперь поди, поди... А я с ним побуду...

Аленка вышла в горницу, где старательно крестилась под образами все та же старуха, села на лавку. Что еще за Успенская обитель? Каково там? И как же Дунюшке о себе весть подать?..

Просидела так довольно долго. Заслышав тяжелые шаги Любви Иннокентьевны, встала.

– Не пойму, – сказала, входя, купчиха. – Как будто спит... Григорьевна, кликни Настасью. А ты, девка, туда стань. Вот тебе черный плат, покройся.

Старуха бесшумно убралась, а Аленка, накинув плат на голову, спряталась за поставцом. Вошла одна из тех пожилых женщин, что встретили их на крыльце.

– Прикажи Епишке возок закладывать, чтобы до света в дорогу тронулся, – велела Иннокентьевна. – Я надумала в Успенскую обитель крупы и муки послать. Пусть мать Леонида за Васеньку тоже молится. И зашел бы Епишка ко мне – я ему еще приказанье дам.

– Что же возок, а не телегу, матушка?

– А то, что я с ним девку туда отправлю. Мне игуменья Александра послушанье дала – девку отвезти в Успенскую обитель, – не солгав, кратко объяснила купчиха. – Не хочу, чтобы ее на телеге открыто везли. Постриг, чай, принимать собралась.

Но когда Епишка, высокий крепкий мужик с бородищей во всю грудь, с поклоном предстал перед ней, приказ ему был иной:

– Вот ее в возок усадишь и тайно со двора свезешь. Ферезея от покойницы Веры осталась, я знаю. Ей дашь, тебе потом заплачу. Будешь через заставы провозить – скажи, племянница. Довезешь с мешками до Александровской Слободы, до Успенской обители.

– Кто ж она такова? – спросил Епишка.

– Про то тебе знать незачем. Возьми в клетки по мешку муки ржаной и ячной, да овса два мешка. И пшеница – это будет пятый. Скажешь игуменье, матушке Леониде: мол, купечская вдова Любовь Иннокентьевна шлет, а она бы приняла чтоб девку... Ну, езжай с богом, до светла с Москвы должен съехать. – Купчиха перекрестила Епишку, затем Алену и, не сказав более ни слова, ушла к Васеньке.

– Мудрит хозяйка, – обронил Епишка. – Ну пойдем, что ли.

Видно, велика ростом была покойница Вера – ее широкая ферезея волоклась за Аленкой, как мантия, рукава по полу мели. Но дорожная епанча и не может быть короткой – должна сидящему ноги окутывать.

И еще до рассвета, как только стали подымать решетки, которыми на ночь улицы перекрывали, выехала Аленка из Москвы. Дал ей припасливый Епишка мешок с хлебом, луком и пирогами, дал баклажку с яблочным взваром, дал еще подовый пирог с сельдями в холстине, и все это легло ей на колени так, что и не повернуться. Однако Аленка после двух диковинных ночей, последняя из которых выдалась и вовсе бессонная, заснула среди мешков с мукой и крупой мертвым сном. И что уж там врал Епишка, выезжая на Стромынку, так и не узнала.

Когда разбудил он девушку, дорога шла уже лесом. Поскольку в лесах пошаливали, несколько подвод и возков сбились для безопасности вместе.

Трясаясь меж пыльных мешков, Аленка попыталась обдумать свое положение.

За Дуней присматривают, но Наталья Осиповна, не дождавшись вестей от Аленки, скорее всего попробует вызнать – не появлялась ли пропажа в лопухинском доме. Потом, возможно, пошлет спросить в Моисеевской обители. И, окончательно потеряв Аленкин след, решит, что девка по неопытности дала себя схватить с поличным, сидит теперь где-нибудь в яме, откуда и будет добыта в нужный час для посрамления лопухинского рода... Как же исхитриться послать о себе весточку?

Плохо все вышло, уж так плохо, что дале некуда. И одна лишь во всем том была утеха – хоть и не отпущенная из Светлицы добром, а все же попадала Аленка в обитель и принимала постриг. За что великая благодарность купчихе Калашниковой...

И тут же вспомнила Аленка про Васеньку. Ей ведь велено было молиться за упокой, но что, ежели он жив еще – тогда как?

Аленка неожиданно для себя сползла с сиденья, стала коленями на рогожку, покрывающую пол возка, и взмолилась-вскрикнула:

– Господи, спаси Васеньку!

Так же вскрикивала, молясь, блаженненькая Марфушка, всю душу вкладывая в голос. Может, за то ей и бывали вещие видения? Аленка обмерла, как бы издали услышав радостный вопль: «Ликуй, Исая! Убиенному женой станешь! За убиенного пойдешь!..» Вот и сбылось. Не венчавшись, оказалась купечкой вдовой...

Осознав это, Аленка впервые за двадцать два года задумалась: а не лишается ли она чего значительного, принимая постриг и отказываясь от супружества? Раньше-то постриг лишь вдали маячил, а теперь-то – вот он, с каждым часочком все ближе. Да еще впопыхах, да к чужим старицам, да под чужим именем...

Нет, быть женой и матерью она покамест не желала. Иное дело – тридцатницей! Это – честь, это – деньги. И даже невинного баловства – девичьих игр с поцелуями – Аленке пока еще не хотелось. Не проснулось еще в ней волнение, как в Дунюшке за два года до царицына сватовства...

Но не вышло у Аленки поразмыслить над уже невозможным супружеством: понесся вдруг возок вперед так, что держись! А вдогонку ему полетел отчаянный звенящий свист. И крики:

– Стой, стой! Служба государева!

Аленка ахнула: стрельцы! Выследили, нагнали, схватят, обратно в Москву повезут! На дыбу! Под кнут!..

– Спасе! – взмолилась она, обливаясь слезами.

А тем временем конники согнали все возки и телеги к поваленному поперек узкой дороги дереву и запричитали, завопили кучера.

Дверь возка распахнулась.

– Баба! – обрадовался темноликий мужик. – А ну, вылезай! Кто такова?

– Купецкая вдова я! Калашниковых! – крикнула Аленка, не заметив с перепугу, что на мужике – не стрелецкий кафтан, а какая-то подпоясанная чуга без всяких украшений.

– Купчиха? Федька! Тут тебе купчиха!

Подоспел и другой мужик, долговязый, вдвоем вытащили Аленку из возка, поставили перед собой.

Глянула Аленка на второго – языка лишилась: рожа страшная, борода кудлатая во все стороны от самых глаз растет, и скалится, нечистая сила, злобно!

– А коли купчиха – пошто на мешках едешь?

– В обитель я! В Успенскую! – ничего не соображая, твердила Аленка. – Вдова я! Постриг еду принимать! Отпустите меня!..

– Федька, забирай вдову купецкую! Сжалился над тобой Господь, послал и тебе сласть!

– Дядя Епифан! – заверещала Аленка, увлекаемая с дороги в глубь леса. – Дя-дя-а!..

Но не до Аленки, видать, было кучеру Епишке. Творилось невообразимое – с телег снимали увязанную кладь, кто-то, защищая, лез в драку, и, похоже, взяли уже кого-то на нож – такой дикий крик перекрыл шум схватки!..

А Аленка все еще не соображала, что догнали ее не стрельцы, а те портные мастера, что на больших дорогах шьют вязовыми булавами.

– Да не вопи ты, дура, – сказал Федька, – не убудет с тебя! Сейчас вот и поглядим, что ты за купчиха...

С тем и завалил.

Влажные кривые кочки подались под Аленкой, тело наполовину в них вмялось – Федька, удерживая за плечи, не давал приподняться, и показалось вдруг девушке, что вот сейчас и уйдет ее головушка в болото, и сомкнется оно над хватающим последний воздух ртом...

Она вцепилась было зубами в грязную руку, да попала не на кожу – на засаленный рукав.

– Ого! – Федька стряхнул ее, как малого кутенка. – Горяча ты, матушка! Это любо! Ну так вот те мой селезень!.. – Он распахнул на ней ферезею, ухватился лапицей за грудь. – Ах-х!.. Ха-а!..

Не человек – чудище дикое взгромоздилось на девушку, ахая от возбуждения. Жесткая борода оцарапала лицо и шею, Аленка высвободила руки, вцепилась в нечесаные космы Федьки, но оторвать его от себя не смогла.

– Ради Христа... Не погуби!..
– Невелик грех, замолишь!
– Феденька, батюшка мой... – Аленка уж не соображала, что лопочет. – Отпусти, не губи!..

Вдруг щекам сделалось жарко, голова поехала-поплыла, да вверх дном и перевернулась...
Шум пропал.

И все пропало.

...Очнулась Алена оттого, что ее сильно трясли за плечи.

– О-ох... – простонала она, не открывая глаз и не желая возвращаться из небытия.

Однако слух уже проснулся и помимо воли принимал звучащие вперевод слова.

– Так она, выходит, девка была?

– Дурак же ты, Федька!

– Гляди, и коса – девичья...

– У людей дураки – вишь каки, а у нас дураки – вона каки!

– Бог дает – и дурак берет!

– Так кричала ж, что купецкая вдова! – Алена узнала этот обиженный басок.

– Вдова, вдова... Ты на нее глянь – какая она тебе купецкая вдова? Заморыш!

– Так сами ж оралы – вот те, Федька, купчиха, давно поджидал!

– Вот те и купчиха!..

– Впрямь те, бабушка, наука – не ходи замуж за внука!

Грянул хохот, но сразу смолк.

– Пес! – услышала Алена резкое, удару плети подобное словцо. По общему покорному молчанию поняла – пришел хозяин. Атаман.

Она приподнялась, опершись на локоть, открыла глаза и увидела стоявшего прямо перед ней мужика средних лет – чернобородого, в меховом колпаке и распахнутой короткой шубе. Стоял он, росту вроде и среднего, руки в боки, глаза в потолок, выпрямившись да вытянувшись, и потому смотрелся вровень с долговязым понурившимся Федькой.

– Девство рушить – последнее дело, – произнес чернобородый. – Баба – у той не убудет. А девок обижать – грех, Бог накажет. Говорила она тебе, что девка?

– Да мало ли что она говорила, я и не слышал... – признался сдуру Федька.

– Когда дурак умен бывает? – спросил атаман, оборотясь к сгрудившейся за его спиной ватаге. И сам же себе ответил: – Когда молчит! Ты, Федя, у нас не просто дурак, а дурак впри-труску!

– Да ладно тебе, Баловень, – обратился к остроумцу мужик постарше. – Что делать-то с девкой? Отпускать-то – никак...

– Вот то-то и оно...

Тут вдруг Федьке взбрело на ум, что есть способ поправить дело.

– Дядька Баловень! Я на ней женюсь!

– Ого! – Столь отчаянное решение явно изумило Баловню до чрезвычайности.

И прочие тоже остолбенели.

– Жених, блудлива мать... – заметил кто-то незримый.

Алена села и одернула подол.

– Очухалась, дура? – Оказалось, что все это время возле нее стоял еще один налетчик, он-то и протянул руку: – Подымайся! Кланяйся атаману.

Ноги Алену не держали – едва ощутив ступнями землю, рухнула она перед Баловнем на коленки.

– Христа ради, не погуби!..

– Да уж погубил тебя наш дурачина, – заметил Баловень. – Детинушка с оглоблю вырос, а ума не вынес!

– Да женюсь я! – с понимающим душу отчаянием завопил вдруг Федька. – Сказал же – женюсь! Христом-Богом!.. Все слышали? Же-нюсь!

8

– Возьмешь высевок шесть щепоток, – озадаченно повторила Алена, – размочишь в теплой водице. Размочила, ну... Мерку муки заварить крутым кипятком, истолчешь пестом. Истолкла, ну... Пусть остынет, чтобы палец не жгло. Не жгло... Смешаешь с размоченными высевами. Выйдет опара. Поставишь всходить...

Все это она по совету бабки Голотурихи исправно проделала, но что-то, видно, вылетело-таки из головы, и печено снова не удалось. Хотя Алена в отчаянии не только хлебные ковриги, но и все углы в избе закрестила.

Ни у Лопухиных, ни тем более в кремлевских теремах заниматься стряпней ей не доводилось. На то есть Хлебенный и Сытный дворы, поварни. Дунюшку – ту учили хозяйству, потому как боярыне надлежит многое знать и слуг учить. А Аленка что? Рукодельница, комнатная девка, молитвенница. У нее и душа-то не лежала к бабьим делам.

Вот и наказал Бог – поместил на болотном острове, куда пробраться можно даже не тропкой – поди-ка проложи тропку по топкому месту! – а по приметам: то правь путь на раздвоенное дерево, то – на разбитую громом ель. Жили там бабы, коим из-за их мужиков оставаться в селах сделалось опасно: жена Баловня, Баловниха, другие жены с детьми и неведомо чья бабка Голотуриха. Поставили им на островке избы, принесли на плечах запасы крупы и муки, навещали нечасто. Сидят в безопасном месте – и ладно, у мужиков руки развязаны.

Как вел Алену туда Федька – думала, не дойдет по сырому, упругому мху. Увязнуть в нем не увязнешь, а шагать тяжело. Версты три Алена еще держалась, а потом норовила на каждую кочку присесть. Ноги промочила, пóлы длинной ферезеи и края рукавов набрякли болотной водой – прямо тебе вериги, как у пустытника... Долговязый Федька шагал впереди, оборачивался, удивлялся: как это баба может от него отставать? Он вон с мешком за плечами, а она-то – с пустыми руками...

Весь день так-то шли, вечером добрались до жилья. Федька устроил Алену в крошечной пустой избушке (прошлой зимой в ней жена Агафона Десятого с двумя детьми до смерти угорела) и повалился на пол, заснул – не добудишься. Утром же ушел, постылый, на прощание снова жениться пообещав.

Не думала Алена, что доведется ей жить в черной избе с холодными сенцами. Сейчас, пока осеннее тепло держится, еще бы ладно, а что зимой будет? При мысли о зиме она принималась бормотать молитвы и креститься на единственный образ в углу, до такой меры почерневший, что и лика не разберешь.

Топила Алена не каждый день, ибо было это для нее мукой мученической. Дым из огромной черной печи шел в избу и ходил поверху, затем подымался под кровлю. Потолок и стены были сильно закопчены, воздух от дыма делался похож на банный.

– Бог в помощь! – загородив свет, на пороге выросла Баловниха, крупная плечистая баба. – Хлебы творишь? Ну-ка... – Она потыкала пальцем в округлую корку – как в каменную стенку. – Сколь долго мяла? – спросила она, вздохнув.

– Пока спина не взмокла, – честно отвечала Алена.

– Больно скоро она у тебя взмокла. Опять твой Федька ворчать станет: мол, сверху ножичком срежь, а в середке ложкой ешь... Ладно, покрой тряпицей, пусть отдыхают.

Вдвоем они перенесли все четыре ковриги на стол и покрыли их.

– Собирайся, купчиха, пойдем. Молочком сегодня разживешься, – пообещала Баловниха.

– Молочком? – Алена ушам не поверила. Коров на болотном острове покамест не завели.

– Постным молочком.

– Да у нас тут всякий день – постный, – сердито буркнула Алена, но уже протягивая руку к фerezее, висевшей на воткнутом меж бревен колышке.

Привела ее хмурая баба в свою избу, где уже сидели бабка Голотуриха, Ульяна с грудным дитяtkом на руках и Анютка, невенчанная жена кого-то из ватаги. На полу был разостлан большой плат, на нем горой – лесные орехи.

– Садись чистить, купчиха, – велела Баловниха. – Складывай ядрышки вон в тот горшочек, что у Ульяницы. – Сама же села на лавку, взяла на колени высокую мису и, с силой нажимая большой деревянной ложкой на стенки, принялась растирать в ней что-то густое.

Алена, сидя на полу, молча ударяла камушком по орехам, высвобождала ядра и кидала их в горшок. Тупая и непонятная то была работа.

– Ты и в роток закинь, не бойся! – ободрила ее Ульяна.

Бабка Голотуриха переместилась по лавке поближе к Алене.

– Отсыпь-ка орешков, – она протянула сложенные ладошки, а потом высыпала орехи на досточку, чтобы крошить ножом. – Вот мы их сейчас покрошим, водицей на ночь зальем, завтра будем растирать. А потом на ложку орехов девять ложек воды – и весь день настаивать и помешивать, да с молитовкой. Потом процедить – вот и выйдет молочко. Из мака так же молочко-то делают, пивала в пост маковое молочко?

Алена лишь вздохнула – и не такими лакомствами баловал мастериц Сытенный двор в Кремле...

– Нужно еще раз по орехи сходить, – сказала Баловниха. – Не то холода грянут – мы уж далеко не заберемся. Слышь, купчиха, когда пойдем – дашь мне свою фerezею, а я тебе – мужнин кожушок. Мне-то он короток, а тебе по болотам в фerezее все одно несподручно – подол по мокрети волочится.

Вошла Катерина, жена дяди Андрея, Баловнева помощника. Перекрестилась на образа, поклонилась бабке Голотурихе.

– Я за тобой, бабушка, Марьюшка плачет, унять не могу...

Бабка засобиралась, выпрашивая быстренько, с чего бы вдруг захворала годовалая доченька.

– Я тебе спозаранку в стенку стукну, – пообещала она Алене. – У тебя мешок невеликий есть, я знаю, и лукошко, ты их приготовь. Да на весь день хлеба возьми. Пойдем-то далеконько... Зато зимой беды знать не будем, с ореховым-то маслицем...

Алена снова вздохнула. Ее опойковые башмачки, в которых так ловко было бегать по теремным переходам, для хождения по болотам никак не годились. Нужны были хоть лапти с онучами. На онучи можно изодрать найденную в избушке грязную холстину. А лапотки кому плести – не Федьке же?

Своего насильника и жениха она за это время видела дважды. Получив, как видно, нагоняй от Баловня, он держался с Аленой тише воды ниже травы. Однажды только намекнул, что вдвоем-то лечь – теплее выйдет, но расхрабрившаяся Аленка так его шуганула – сама отваге своей подивилась.

– Да ну ты к шуту! – огрызнулся Федька. – Все одно ж повенчаемся! Вот санний путь станет – повезу тебя к батьке Пахомию, покамест мясоед.

Алена молила Бога, чтобы тепло подольше задержалось. И потому, что зимней одежки не имела, и – из-за Федьки. Дождалась жениха! При одном взгляде на него, нескладного, кулачки сами собой сжимались. Бить бы его, месить, пока не поумнеет!

Такие лихие мысли прорезались в ней, когда она впервые своего незадачливого суженого при дневном свете увидела. Тут только догадалась неопытная в обращении с мужчинами Алена, что Федька еще очень молод, от силы ему девятнадцать. И среди налетчиков дядьки Баловня он – младший, потому и прохаживаются на его счет все кому не лень. Млад-

ший, бестолковый, одна только борода и есть – на двух бояр станет! Борода-то выросла, а ума не вынесла... Борода с ворота, а ума с прикалиток...

Одно было во всем этом благо – на болотном острове никакие стрельцы Алену не сыщут! Порой она даже задумывалась: а не спас ли ей жизнь Баловень со своими налетчиками?

Рано утром бабка Голотуриха торкнулась в стенку избенки. Алена наскоро сотворила молитву, обулась и, пытаясь на ходу угрызть свое вчерашнее неудачное печево, вышла наружу.

– Держи-ка, купчиха, – Баловниха протянула ей обещанный кожушок.

В кожушке поверх телогреи и впрямь было сподручнее, а Баловнихе Аленина фerezея оказалась в самый раз.

Пошли по орехи вчетвером: Баловниха, Катерина с десятилетней дочкой Дарьцей, Алена и бабка Голотуриха. Вела Баловниха – она знала, на что на болоте глядеть да где сворачивать. Бабка же по дороге толковала про всякие страсти, Христом-Богом упрашивая Дарьцу и Алену не отставать от старших, не терять их из виду...

9

Когда Алена тащила к мешку очередное лукошко с орехами, послышалось ей конское ржание. Видать, где-то поблизости пролегал наезженный путь. Она прикинула: в какой бы стороне?

Какое-то время Алена слышала лишь лесные шумы да шорохи, а потом вновь донеслось!

Тут у нее из головы напрочь вылетело, что надежнее всего – отсидеться на болотном острове, что в Москве показываться опасно, что, выберись она с болота, неизвестно даже, к кому идти, у кого помощи просить. Перекрестясь, поставила лукошко на землю и быстро пошла на звук.

Так уж вышло, что в настоящем лесу Алена оказалась впервые в жизни. И, не имея под ногами даже едва приметной тропы и вынужденная огибать каждое дерево и каждый куст, вскоре дала такого круга, что, как ни прислушивалась, ничего более слышать не могла. Да еще и под ногами сделалось топко.

Испугавшись, Алена стала озираться. Обнаружила, что стоит в болотистой ложбине между взгорками. Впритык по склонам торчал еловый сухостой, но елки, толщиной с Аленино запястье, стояли до того часто, что протиснуться меж ними мог бы разве что заяц. Однако ни зайца, ни другой какой живности тут не было. Даже птицы не пели.

Алена попыталась тем же путем вернуться к бабам, но сухостой словно спрятал прореху меж стволами. Хуже того – показалось ей, что елки окружили ее еще теснее, словно загоня в середину болота. Она перекрестилась и прошептала Иисусову молитву. Но не расступился сухостой, а, напротив, стволы как бы маревом вдруг подернулись и стали кривиться, корчиться, вихляться...

Алена вспомнила слова бабки Голотурихи про здешних болотных бесов, жилью коих в трясине было обведено кругом. И звалось оно – «место спорчено, болью скорчено». И попал туда человек, ежели переступал сдуру незримый бесовский след. А следы у бесов – как бы через один, потому что они, попадая на землю с небес, переломали себе ноги и ковыляют с тех пор, хромя... Поняла теперь Алена, почему никто до сих пор не обнаружил болотного острова: тропка к нему, видать, вела самая что ни на есть узкая, а вокруг – сплошные бесовские следы!

Осознав это и узрев внутренним взором свою неминуемую гибель в трясине, Алена завопила во весь голос, призывая то ли Матушку Пресвятую Богородицу, то ли свою родную мать, которой она и в глаза не видывала. Кинулась сгоряча на сухостой, попытавшись раздвинуть руками стволы, да какая сила может быть в руках комнатной малорослой девки? Только ладони ободрала понапрасну.

Встала тогда Алена перед непроглядной еловой стеной, перед стволами вихлявыми, прикрыла голову и лицо выставленным вперед локтем и, как телка перепуганная, всем телом бросилась на сухостой.

– Спасе! – крикнула, ломясь наугад. – Спасе!..

Проложила Алена дорогу, выпала из сухостоя – и понеслась, не разбирая дороги, по скользкой палой листве. Уж дыхание занялось, а она все бежала. Остановилась, лишь когда ноги чуть не подломились.

Стоять было страшно, и Алена пошла, тяжело дыша и неуверенно зовя:

– Ау-у!..

– Ау-у! – отозвалась наконец то ли Баловниха, то ли Катерина.

И досталось же Алене за утерянное лукошко, уже доверху полное орехов! А она и объяснить не могла, как вышло, что потеряла его.

– Так ясное дело – леший ее водил! – вдруг сообразила бабка Голотуриха. – А ты, светик, иным разом, как поймешь, что блудишь, сними одежонку и надень навыворот – мол, не ты это! Он и отвяжется.

И привели Алену обратно на остров. А там великая радость – Федька объявился!

В ожидании хозяйки, что накормит да напоит, Федька делом занимался: намотав на запястья длинные ремни летучих кистеней, учился запускать вперед гирику так, чтобы она, летя, сматывала с руки ремешок и чтоб летела не куда попало, а в нужное место. Правой рукой у него уже кое-как получалось, а левой – ни в какую.

Алена остановилась за его спиной, не зная – то ли окликнуть, то ли, может, тихонько уйти к Катерине. У Катерины-то сегодня в печи густая каша с конопляным маслицем да пирог с капустой, а у Алены – незадавшийся хлеб, кадушка клюквы, три луковицы да четыре головки чеснока...

Научилась Алена Федьку только ругать да костерить. И ведь чуяла, что нужно как-то иначе; а как – не ведала. По пальчикам ведь счесть могла, сколько раз за свои двадцать два года говаривала с мблюдцами. Мир делился на два разных – на мужской и на женский. Мир был вполне продуманным: всякой девке, достигшей спелых лет, он подыскивал мужа. Посты да постные дни не давали постельному делу приесться – и молодой муж обычно ласкал жену во всякое дозволенное верой время, так что о любовнике смолоду и не задумывались. Потом рождались дети, а потом, коли и случался бабий грех, – так проще было его замолить, чем менять устройство мира. Баба да кошка хозяйничали в избе, мужик да пес – на улице, и был в этом простой, но устоявшийся за столетия смысл. Свои радости были у мужиков, свои – у баб. И Алене прекрасно жилось в женском мире, а теперь вот приходилось обустраиваться в каком-то странном. И некому было поучить – что да как.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.